

ВРЕМЯ ИМБЫ 52 1980

В ЭТОМ НОМЕРЕ: ЖЕЛТОЕ И КРАСНОЕ ● ВОСПИТАНИЕ ЛЕВЫ
НАВРОЗОВА ● "ПРАВЫЕ" И "ЛЕВЫЕ" В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
● "КАФЕДРА" И. ГРЕКОВОЙ ● МЕМУАРЫ ДОРЫ ШТУРМАН



ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Шестой год издания

Выходит один раз в месяц

52
1980

АПРЕЛЬ

НЬЮ-ЙОРК-ТЕЛЬ-АВИВ-ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" - 1980

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ЛЕВ НАВРОЗОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ВИКТОР НЕКРАСОВ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД

Американское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Эдуард Штейн.
Адрес отделения: E. Sztein, 594 Chestnut Ridge, Road
Orange, Conn. 06477.

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд.
Адрес отделения: 4 rue Paul Bert, 92150 SURESNES.
FRANCE.

Представители журнала:

Англия Александр Штротмас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HO6 3PZ ENGLAND.

Западный Лотар Ролл
Берлин Lipschitzallee 24, 1000 Berlin 47, Т. 603 33 49

Канада Юрий Лурьи
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474 9773

ФРГ Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир РыБАКОВ

Желтое и красное. 5

Лев НАВРОЗОВ

Воспитание Левы Наврозова 54

ПОЭЗИЯ

Семен ЛИПКИН

Литературное воспоминание. 76

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

Зарешеченные поезда 90

А. МОРЕВ

Листы с пепелища 101

ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ, КРИТИКА

Н. ПРАТ

Правые, левые и социализм. 108

Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

Бродячая тайна 118

Мира БЛИНКОВ А

Кто будет заведовать кафедрой? 131

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Дора ШТУРМАН

Тетрадь на столе. 144

Аркадий ЛЬВОВ

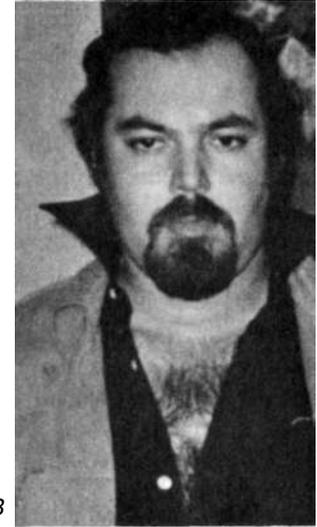
Веди за собой отца твоего. 173

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Глазами Милюкова 188

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Человек-маска с Максимилианштрассе. 210



Владимир РЫБАКОВ

ЖЕЛТОЕ И КРАСНОЕ

1.

Никто не знал толком — началась только или уже кончилась игра в кошки-мышки с китайцами. При мыслях о будущей войне воздух у меня в груди тяжелел и становился особенно вкусным. Все, вероятно, много думали о смерти — о ней почти перестали говорить, а если приходилось, то слова выходили нагруженные злобным надрывом, будто ее, косую, старались заранее уничтожить.

Офицеры на политдолбежке с трудом читали по учебникам о прошлых сражениях. Некоторые лейтенанты уже видели себя полковниками в тридцать лет. Крошо, не обращая внимания на глаза солдат — те ему орали: "О чем, о чем, скотина, городишь? Заткнись, сволочь!" — говорил запальчиво:

— Считайте, что уже наступило военное время. Теперь вместо дисбата будет вам штрафбат. Поняли? Родина зовет! А Кириленко в самоволке уже сутки — будет ему хана. Я ему устрою...

— Это нехитро.

— Кто сказал? Кто? Вы что, не понимаете — война, война

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

будет. А в таком случае дезертир — враг похлеще, чем китаец.

Степан Кириленко был орудийным номером, человеком с широченными костями. Он мечтал стать наводчиком, а затем водителем и, как он сам выразился, для того, чтобы мечта не убила в нем человека, решил жениться. Взял первую попавшуюся прыщавую от любовного недомыслия девушку, сделал ее счастливой, а после как-то сам стал счастливым. Одна только вышла неприятность — он теперь метался между своими воздушными замками и женой. Пуховик с бабой поверх и гнал солдата в самоволку, и все было бы не так плохо, если б не китайцы.

— Что делать, не могу теперь без бабы. Посадят меня, ох посадят, а все из-за них, желтых этих. Мне бы хоть парочку...

Я ему говорил:

— Ты лучше думай, что они у нас Сибирь хотят забрать. Он на меня вылупился до бордовости на скулах:

— Что? Ты серьезно? Я думал, что это так говорят, ну, для хохмы этой самой. Ну? От бляди желтые... Нехорошо...

От этого "нехорошо" у меня на спине протанцевали легкие мурашки. Кириленко был явно из людей, не чувствовавших в себе силы морали. Таких было много. Само воспитание порождало у нас народ, считающий красоту ложью. Погибший под танком, на учениях, Быблев говорил: "У нас попытались сделать человека Богом. Заявили, что Бога нет, а у человека нет души. В результате Бог остался, но в душе искалеченной".

Я не мог верить в Бога. Не верить в него было глупостью, но с этим ничего нельзя было поделать. Но я понимал, что человек изначально добр, потому что быть добрым обычно выгодно. Закон гостеприимства, например, был почти всегда необходимостью людей среди окружающей их враждебности. У нас враждебным сделали человека, его отучали от выгоды любви друг к другу. Как иначе объяснить, что в начале века сибирские крестьяне оставляли на ночь у колодца молоко и хлеб для беглых каторжников, а к середине века гнались за ними в надежде получить за поимку обещанный властью пуд муки?

Но в послевоенных поколениях наша власть оставила лазейку — любовь к родине: подсознательное сильное чувство к своему языку, по мере того как поощрялась любовь к общей территории. Мосин называл это "имперским сознанием". Оно действительно было. У нас в роте были западноукраинцы, не скрывающие злобы к нам: "Вбиты москаля — цэ файно". Все русское вызывало в них злобную злобу, однако и они приходили в холодное бешенство при одной мысли, что китайцы могут захватить хоть сантиметр Дальнего Востока.

Кириленко об этом не думал — хотел только спокойно дембельнуться и остаться в этих местах — в маленькую Европу его не тянуло. Он впервые в жизни лег на простынь в казарме, в ней же стал привычно пользоваться водопроводом. Так что у Кириленко и без патриотизма была непосредственная выгода от истребления китайцев, кроме того, в нем ничего не было, что могло помешать убить человека вообще.

У меня в расчете пустовало место наводчика. Поколебавшись, я решил, что сволочь мне нужен более какого-нибудь нормального человека и в конце концов попросил комбата дать мне Кириленко:

— Таищ капитан, я его вмиг обучу, парень рвется к этому делу, а заодно научу его с умом в самоволки бегать.

— Ладно. Только, Волков, учти — без политики. Ты же знаешь, зла тебе не хочу, да и... Скоро может быть... сам знаешь. Вместе придется ж... подставлять. Понял?

Кириленко отсидел на губе всего десять суток, после чего его перевели в мое отделение. Я чувствовал, что этот парень мне пригодится, только с ним нужно было действовать осторожно — он мог спокойно или доносик состряпать или подушкой придушить.

— Слушай, Степан, зла тебе не хочу. Только, чур, слушаться. Иначе будешь часто с тягача падать. А так буду к бабе отпускать. Понял?

Через день, придравшись к пустяку, избил Степана. Тот молчал и почти не защищался. А после, будучи дежурным по роте, отпустил его на ночь к жене. Все как положено. С этой

стороны мне опасаться было нечего — я был ему выгоден больше, чем он мне. Потом подобрал в водители верующего в Бога парня — такой в дурном с его точки зрения деле не поможет, но зато и не выдаст.

В общем, расчет у меня был теперь в полном порядке. С ним я мог воевать, имея шанс остаться в живых, во всяком случае, не мог погибнуть по собственной глупости. Нужно было, как всегда, найти золотую середину, маленькое наименьшее зло.

Быть трусом означало верную смерть — от трибунала никто и ничто не спасет. Быть отчаянным означало быть истеричным. Нужно выполнять приказы осторожно, но — выполнять. Тем более, что китайцы — настоящие враги. Исторические. Не были, так стали.

Выслушав, мой друг и лучший подносчик в полку Крякин спокойно рассмеялся:

— Говоришь о войне, как будто она таблица умножения. Так и так, и получится этак. На войне, я так понимаю, нужно убивать, стараясь оставаться человеком.

— Нужно остаться в живых. Вот цель войны.

— А победа?

— Что победа? Только с ней и можно остаться в живых. У нас так, разве тебе неизвестно?

Тем временем война казалась все ближе и ближе. Полнокровные дивизии были оттянуты еще дальше от границы, а нам подбросили пулеметов, минометов и скорострельных безоткатных орудий малого калибра.

Замполит подполковник Вогаев почти каждый день восклидал по многу раз:

— Мы должны быть начеку! Международный империализм и китайские предатели окружают нас кольцом вражды. Мы, стоящие на священных рубежах нашей родины, должны быть готовыми ежеминутно, ежесекундно не просто отбросить врага, но — уничтожить его!

Как-то зашел в класс во время политподготовки комполка, выслушал Вогаева, подождал, пока тот вышел, и сказал:

— Слушайте, ребята, мне было столько лет, сколько вам

теперь, когда началась война. Тогда враг был лучше нас вооружен да и штабы его были куда опытнее наших. Теперь положение другое — мы сильнее нынешнего врага — я говорю о китайцах. Приказ ясен: всякий китайский военнослужащий, который перейдет нашу государственную границу с оружием в руках, не должен ее снова перейти ни живым, ни мертвым. А чтоб было совсем ясно, то — пленных не брать...

Полковник хотел что-то добавить, но осекся.

— Все, ребята. И помните, что произошло на Даманском.

Слухи о случившемся зимой с одной пограничной заставой бежали по частям, как огонь по мертвому лесу. Не совсем понятно было, что имел в виду комполка — эту молву или газетную шумиху. Официально ребята были, как положено, героями, отстреливались до последнего патрона, но не отступили под натиском превосходящих сил противника. Погибших хоронили пышно, торжественно неуютно. Все получили по звезде, мертвые по две — на грудь и на могилу. Но живым и одной хватило, чтобы выйти в люди. Они теперь на гражданке начальнички.

По слухам, разносимым стоустой казарменной молвой, почти вся застава была перепившись... Будто у двоих сержантов была судьба родиться в один и тот же день. И умереть, значит. Удивительным было то, что китайцы были в тот вечер трезвыми или почти. Но поработали они все равно плохо, наделали шума, дали возможность, помешкав, оставшимся в живых понять, что бежать по морозу в кальсонах некуда — мороз убьет вернее китайца. Поэтому они и остались дышать на этой нашей земле, а много парней с той стороны перестали. В общем, полупьяная резня-стрельба.

Наш комбат больше верил неписаной правде.

— Говорю вам, черти, не спите на посту. Нет, дрыхнете, а еще — чефирите, травой дышите. Увижу — пристрелю на месте.

— Товарищ капитан, не имеете права, по уставу не имеете. Нет у нас еще войны. Не объявлена.

Капитан скривился. Мне он нравился. Капитан любил свою работу и искренне считал войну необходимым злом. Для него

дисциплина была единственным способом не потерять в бою лишних людей.

Он был, конечно, коммунистом. Он верил в коммунизм, не придавая этой единственной своей осознанной вере особого значения. Капитан был прежде всего солдатом и добродушным человеком, таким, который испытывает ненависть к врагу, пока тот не мертв или не в плену.

Он еще сильнее сжал в комок лицо:

— Кретины. Я вам о деле, о китайцах, о вас, сукиных сынах, а вы как страусы. Нет, чтобы спасти жизнь всем нам, я пристрелю одного, а там видно будет.

Комбат ушел. Важнее всего было то, что он говорил правду — он сделает! А это значило, что дела нештучные пошли по Дальнему Востоку, и, может быть, и по всей планете.

Вечерами в казармах рассказывался на все лады страшно-смешной анекдот. Врывается в "склеп" пьяный от бешенства маршал:

— Кто нажал на кнопку?

Молчание. Как будто пьяное.

— Кто?

Выдох. Сильные. Отрывистые.

— Ты, Петров, нажал? Расстреляю.

— Никак нет, товарищ маршал.

— Сидоров? Повешу.

— Никак нет.

— Иванов, сука? Сгною.

— Павел Иванович...

Бешенство уходит из маршала. Он ходит взад и вперед по каземату, после обреченно машет рукой:

— А-а-а, черт с ней, с Голландией!

Слушая, все смеялись, и только после, с приходом ночи, появлялись мысли о собственном бессмертии и вместе с ними новые, никогда еще неизведанные страхи. Связанные с собственной смертью.

Некоторые даже писали прощальные письма домой. Так, иной раз, мать получала от сына единственное длинное письмо за всю его службу. И плакала от страха.

Тем временем долгая опасность расшатывала как раз то, что хотел не только сберечь, но и усилить комбат — дисциплину. Все боялись отныне только смерти и верили вместе с тем в свое бессмертие. Странное это дело, когда без мира и войны все время умирают или готовятся к этому люди. Зыбкость бытия порождает равнодушие к нему и веру в непознаваемое. Участились самоволки, но зато никто теперь не уходил далеко от части. Хмель почти не скрывался, но если кто и напивался до бесчувствия, то только по нервному недосчету своей крепости к спирту или другому зелью.

Как-то после отбоя ко мне на койку подсел Крякин:

— Слышь, скажи, как ты думаешь, китайцы — они тоже против евреев?

Я задохнулся и сунул голову под подушку, чтоб не расхотаться на всю казарму. Лида Снобина, биробиджанская невеста Крякина, была еврейкой.

— Чего ржешь? Серьезно спрашиваю.

— Не серьезничай. Среди ихнего миллиарда может и сможешь отыскать с десятков лидиных соотечественников, не больше. Так что, уверяю и подтверждаю — если косоглазые дойдут до Биробиджана, то глядеть кто русский, а кто еврей они не станут — кончать будут всех. Понял?

— Понял.

Он ушел, откусив мне сон.

Как тьма людей до меня и после — пока будут существовать кровати — я засунул руки под голову и задумался, глядя в потолок. Свободные страны моей мечты, где обитает наименьшее зло, отошли в такое далекое будущее, что оно могло бы быть забытым прошлым. Теперь для меня речь шла не только о том, как бы остаться в живых. Мой яркий патриотизм был смешон, я ведь решил быть только солдатом, без помпезных и тем более искренних фраз. Но я все-таки подумал, засыпая, что нужно же кому-нибудь, обойдя всякую политику, социальные системы, защищать христианскую цивилизацию. И родину. На деле мне, наверное, нужно было оправдать свое злое чувство к китайцам.

Через несколько дней они вновь перешли государственную границу. Дальневосточная летняя духота была менее сильной, чем страх. Во всяком случае, все потели куда обильнее, чем обычно. Каждый замечал бледность другого. Минуты напряженной тишины менялись промежутками времени, наполненными искусственным оживлением, — сыпались шутки, анекдоты. Лейтенант Крошо умолял:

— Быстрее, ребята, быстрее. Надо успеть.

Потом спохватился, бросал помогать тащить ящики со снарядами и начинал орать:

— Живее! Ты. Ты. Что, приказа не слышали?!

Его надрывное "ну-у-у!" неприятно влезало в уши и мозг.

Подошел комбат:

— Волков, пойдика сюда. Слушай, разведка донесла — их не более трехсот. Идут толпой. Как в тот раз — косые, косые в ж... У них три орудия и несколько минометов. Приказано начинать вести огонь сразу и без предупреждения. Начнешь по моему приказу. Да, вот что... приказано пленных не брать и... и раненых добивать. Чего вылупился?!

— Так просто, товарищ капитан.

— Брось ты. Помни, что у нас война. Или почти. Проследи, чтобы выполнили приказ. Чтoб не делали глупостей. Понял?

— Понял.

Капитан ушел к другому орудию. Я вспомнил, глядя ему вслед, своего бедного друга Адирина и подумал: "Ему еще повезло, что его посадили". Он со своими Социалистическими идеалами, в поисках своего коммунизма с человеческим лицом быстро здесь потерял бы свое собственное.

Орудийный парк продолжал кишеть народом. Я поднял голову, посмотрел на нежнейшее небо. Достаточно было бы одного китайского "МИГа", чтобы нас всех стереть в порошок.

Мы же их и вооружили, заводов им понастроили, чтоб могли они, желтые братья, сегодня по нас стрелять. Идиоты!

Подошел Крякин:

— У меня все готово. Хальфин и Вахитов дотащат последние ящики с минами и можно трогаться. Чего ты?

Я посмотрел ему в глаза:

— Ты отдаешь себе отчет, что это первый раз в истории коммунисты воюют с коммунистами?

Крякин покачал головой:

— Нашел о чем думать. Не видишь, что делается? Твой коммунизм, знаешь куда можешь его засунуть? Здесь наша страна, а там ихняя. Мы здесь и они здесь. Так чего думать.

Логика моего друга была безукоризненной, но я был уверен, что он занимается самообманом, — идеология, без сомнения, играла роль в усилении нашей ненависти к китайцам. Мы слушали, когда могли, ихнее радио на русском языке, смеялись, издевались, но, порой, и выводы делали, и не так умом, как чувствами. Объясняя предательство нашего руководства мелкобуржуазными тенденциями, китайцы невольно внушали своим слушателям какое-то подпольное уважение как раз к этому руководству, с которым боролись. В советском человеке мелкобуржуазность является сначала синонимом капиталистической эксплуатации, а затем синонимом достатка или даже богатства. Из этого клубка чувств рождалось ощущение, что мы в общем стали жить не так уж и плохо, а китайцы хотят, чтобы мы возвратились к голоду и другим историческим мерзостям. В общем, чаще всего подсознательно, ненависть к китайцам была связана с ненавистью к нашему собственному прошлому. Это было все равно, что мстить собственному прошлому несчастью, которое вот-вот да и вернется. Часто в казармах можно было услышать:

— Гляди, жрут-не жрут, нищета — одни ихние штаны чего стоят. Говно. А — все туда же, к нам со своим дерьмом, мать их за ногу!

В общем, подумал я, есть за что их кончать без особого угрызения совести.

Ко мне подошел бочком, как это часто делают повинные школьники, плоско-широкий Кириленко. С тех пор, как он стал наводчиком, на его лице выступило выражение сытости.

Так теперь он и жил, даже если недоедал. Он заговорил, дыша мне в ухо:

— Слышь, сержант, на серьезное дело ведь идем. Мало ли что... — Кириленко показал глазами на Хальфина и Вахитова. — Они тоже того самого, почти ихние. Знаешь, татарства всякая, нацмены, они запросто могут того... А?

Я еле удержался от удара, автомат за спиной сам просился в руки. А глаза у Степана были собачьи с подлой человеческой посередине.

— Что? Ты мне, сука, расчет не порть. Боеспособность хочешь нашу угробить? Знаешь, что за это дают в военное время? Я тебя, гада, сам прибью, если еще такое услышу. Корешей обвиняешь в предательстве! Есть доказательства — давай, а нет — становись к стенке. Понял?

Кириленко все понимал и потому долго бормотал, что хотел на самом деле только блага всем и всему.

— Ладно, ты лучше глаз наостри, а не язык.

Из парка вырывались тягач за тягачом. Справились за полчаса, благо комполка догадался заранее привести в парк боеприпасы из складов.

Я понимал, что скорострельные пушенки и минометы несравненно более действенны для борьбы с пехотой, чем наши тяжелые неповоротливые гаубицы, снаряды которых разнесут вдребезги укрепления и опорные пункты, и сейчас, проезжая мимо них, чисто по-солдатски взгрустнул. Мне было, несмотря на жару, немного зябко. Убивать врага — дело святое, убивать безоружного врага — дело либо военной необходимости, либо дело политико-психологическое, потому для солдата работа нелегкая — нужно как-то себя ожесточить. Но стрелять в упор в раненого... Конечно, приказ есть приказ, и если военнослужащий начнет думать, что есть приказы, которые надо выполнять, — и другие, то тогда мы пойдем к резкому ослаблению армии вообще, то есть к слабости обороноспособности своей страны, какой бы она ни была. Отказываясь выполнить приказ в боевой обстановке, солдат должен либо застрелиться, либо застрелить того, кто дал ему этот приказ. Либо, что еще проще, выполнить приказ и затем

написать жалобу-донесение-донос, всегда индивидуальную, так как коллективные строго запрещены и могут расцениваться как заговор.

Эти мысли меня несколько успокоили, но, главное, я тайно рассчитывал, что пачкаться не придется, — дело сделают, как в прошлый раз, ракеты, а нескольких оставшихся в живых китайцев добьют офицеры — им за это зарплату дают.

В тягаче было обычное в таких условиях сосредоточенное молчание, оно должно было рано или поздно прерваться нервным весельем, сальными анекдотами и жадными разговорами о женщинах.

Пока же у одного дергалось веко, другой чистил чистый автомат, третий делал вид, что спит.

Только увидев с вершины одного холма китайцев, я понял, что ракет не будет. Желтые продвигались по маленькой долине, окруженной холмами, и были полностью окружены. Мне показалось, что их тысячи, хотя на самом деле их было не более пятисот.

Крякин сказал:

— И чего их посылают вот так подыхать ни за понюшку табаку? Они что, не знают, что им хана? Ничего не понимаю, Никита.

Будто я что-то знал или мог понять, что происходит. Но причина была, как всегда в таких случаях, очень простая:

— Я не гадалка, но, по-моему, причин может быть только три. Или они хотят пощупать наше сопротивление и им не жаль своих людей, или кто-то там у китайцев, из шишек ихних, хочет во что бы то ни стало спровоцировать войну, или им нужны герои-мученики для внутренней политики. Откуда я знаю, что у них там в Пекине происходит. Я думаю, что наше политбюро не знает, что в китайском политбюро происходит. И наоборот. Так что кончай разговоры. Щас будет приказ.

Кириленко протянул:

— ...Что ты, наше все знает. Все. Как же иначе?

Как бы отвечая на его вопрос, рядом с тягачом появился лейтенант Крошо:

— Молчать! Приготовиться к стрельбе.

А готовиться в общем-то было не к чему — эти орудия палили почти сами, получай только прицел, и все. Да даже и без него можно было сегодня обойтись... Порой до нас доносились звуки песен. Китайцы орал, должно быть, во все горло, если на большом все же расстоянии им удавалось заглушать шум наших моторов. Тракторы тащили у них два орудия. О чем они поют? Французы обычно поют о смерти врагов, немцы — о смерти товарищей, японцы — о собственной смерти поют. Мы, русские, поем обо всем, потому что для нас война всегда была, в сущности, тяжелой работой и только, следовательно, одной из неприятных сторон существования. Мы никогда не были народом-воином. Мы почти всегда побеждали и всегда плохо воевали. Обычно учились у врагов.

Так о чем эти дураки поют? Они тоже всегда плохо воевали и, в отличие от нас, они чаще всего проигрывали войны, чтобы победить врага, переварить его во время мира. Наверно чушь какую-нибудь революционерную и воют. Быть вам без могил!

Мое предчувствие меня не обмануло. Вытащив тихонько не так давно купленный у одного грузина-дембеля морской бинокль, я видел теперь дальше, чем даже комполка, — я удостоверился, что нет наших, как мы их называли, "Катюш в кубе". "Быть может, подумал я, подобные атаки, вернее, самоубийства, происходят по всей границе?" Это был вопрос, на который никогда не получаешь ответа. Была бы война — получил бы, а так — многочисленная смерть от оружия останется тайной мирного времени.

Оказалось, что я все это время отдавал приказы и следил за их правильными исполнениями. Все было готово к ведению огня. Китайцы все шли к своей глупой смерти. Нам дали прицел. Облизываясь, Кириленко сделал все быстро и правильно.

— Огонь!

До этой секунды мой желудок, как кладбище без могил, был пуст и словно не существовал, так, резкий болезненный холод проходил через него и хватался за все попадавшие ему на пути нервы.

— Огонь! За нашу советскую родину!

Китайская мина разорвалась среди нас, на самом деле в метрах двадцати. Все попадали. Мне стало очень тяжело орать — глотку, будто изнутри, закрыла перегородка, и я пытался изо всех сил ее пробить. Теперь тело горело, бесновалось так, как этого никогда не сможет добиться ни одна женщина, — оно сверху неподвижно пылало, а под кожей самоуничтожалось в коротких судорогах и спазмах. Наконец, воздух, несущий вопль, вырвался наружу:

— Огонь! Огонь, суки! Огонь!

Еще две китайские мины — наверняка мы построили им заводы для производства минометов — противно разорвались, и сразу стали тысячами, тьмой, вертящейся, ищущей каждого из нас. Я потянулся к орудью и выстрелил. И только тогда заметил более серое, чем земля, усмехающееся лицо Крякина. От момента, когда шлепнулась неподалеку от нас первая китайская мина, и до того, как дало первый выстрел наше орудие, прошло секунд десять, десять мигов и десять вечностей.

Потом время стало лихим, кривым, огромным, но лишенным всякого безумия. Вахитов бросал мину в ствол, мешком падал ниц — лопатки чуть не пропарывали гимнастерку. Он становился тяжелым человеческим комком, вдруг взрывался мышцами и вновь опускал мину в ствол. После вся его грудь была покрыта блевотиной. Хальфин с пулеметом почему-то отбежал от тягача, устроился на самом скате, и стал палить с помощью орудийного номера Скалкина, среднего парня, познавшего от родителей истину, что нет ничего глупее и вреднее на свете открытого проявления своей индивидуальности — к этому слову он испытывал отвращение, а к коллективу и вообще к множественному числу — равнодушие. Он несколько раз пытался отползти от пулемета. Хальфин ловил его и тащил назад, послушного, к ленте.

Наше орудие палило без передышки, как и положено отлаженному механизму. Кириленко вертел свою гадость-приспособление как попало и шептал с любовным страхом, как это делает рыбак, следивший за ожившим поплавком:

— Клюет, клюет, эй-ей, клюет... Клюет, клюет.

Вся местность тонула в грохоте. Внизу в множестве умирали китайцы. Их песня прекратилась после первого выстрела, и теперь вдоль земли к нам, вверх, в короткие секунды перерыва огня неслись какие-то азиатские крики, наверное, лозунги типа "сволочи" или "умираем, но не сдаемся". Я удивлялся, сдерживая дурацкую тошноту, тому, что слышу тихие слова своего наводчика:

— Заткнись! Заткнись, падло!

Кириленко замолчал, и мне показалось, что наступила тишина. На деле я поднимался в воздух, плавно. Но упал так, что лопнули галифе. Взрывная волна прошла по нас и ушла ветерком к другим сопкам. Я себя ощупал, медленно, как цыган лошадь. Цел, ни царапины. Наше оружие, подпрыгнув несколько раз, успокоилось. Не слыша себя, заорал, рвя голосовые связки:

— Огонь! Огонь, мать вашу!

И оружие вновь стало палить в белый свет, как в копеечку. Кириленко с окровавленной мордой продолжал работать. Бурый Крякин, вопя, заряжал и заряжал. Все продолжалось. Даже наш миномет не переставал плевать. Но чего-то не хватало. Чего?

— Прекратить огонь! Прекратить огонь!

К нам бежал начальник штаба полка подполковник Гейвин.

Крякин подошел ко мне:

— Темно тебе?

Я кивнул головой.

— Рябит?

— Да. Бабу бы сейчас, а?

Я говорил вполне искренне. По моему телу бегали черти жизни. Хотелось женщины до боли, но всего несколько мгновений. Затем захотелось водки, затем кричать "мама", после броситься головой в поисках стенки. Наступившая тишина вонзилась в уши, завизжала на перепонках. В сущности, это было совсем просто оказаться в другой плоскости, в другом измерении. Движения мои и других были, пожалуй, слишком нормальны, гораздо более медлительны, чем обыч-

но, но глядя со стороны можно было разве что увидеть усталых людей, устало продолжающих привычную работу — только обильная блевотина и смешанный запах пота с мочой могли подсказать наблюдателю другой вывод.

Гейвин, подбегавший комбат и несколько других офицеров приказали нам взять автоматы и повели вниз к китайцам. Я опять машинально удивился тому, что, оказывается, на войне сильнее всего запах человека, запах страха, платы за страх и прочего вплоть до неестественного спокойствия, означающего, что я, ты или он можем теперь все — черта, та самая, перешагнута.

Нас выстроили и повели.

— Стрелять без предупреждения! Стрелять без предупреждения!

Первым начал палить какой-то недобитый желтый брат. От громадного количества трупов веяло чем-то неестественным. Оказалось, человеческое мясо вовсе не такое красное, как кажется, а скорее беловатое.

На ходу мы автоматически опорожняли себе на грудь — будто этим продолжали заниматься с пеленок — содержимое своих желудков. Количество еще живых китайцев было гораздо больше, чем можно было предполагать. Некоторые кричали. Были и такие, что молчали — орали у них только глаза. В одного такого я выпустил почти половину рожка... Позади нас шли офицеры с пистолетами. Их выстрелы были, как детские хлопучки. Парень, шедший рядом с Крякиным, вдруг упал — китайского выстрела не было. Крякин прекрестился, нагнулся и завопил так, что мы бросились в рассыпную:

— У него удар! Солнечный удар!

Все вернулись, хохоча, уже толпой — странно, что друг друга не перебили — продолжали палить во все стороны. Некоторые не замечали, что рожок пуст и продолжали нажимать судорожно сведенными пальцами на курок.

Было, наверное, глуповато наблюдать, как, перезарядив, солдат, хохоча-рыдая во всю глотку, палил по трупам, оживавшим под пулями. Одна из моих вошла в рот еще живому

желтому парнишке — у меня еще шире раскрылась пасть, и я ощутил что-то родственное с этим сопляком, которого послали умереть и которого я послушно убил. У нас упали без сознания еще двое. К нам спустился Лапша, комполка, бледный, спокойный. Он выпустил обойму и скомандовал:

— Берите его — и назад. Живее!

Кириленко, мой наводчик, человек, который по моим расчетам должен был меня заменить для этой грязной работы, в случае, как я думал, если ракеты, как в прошлый раз, не прикончат сразу всех, рехнулся... Он приспособил к своему АКМ штык и, весь в чужой крови, рвал лезвием мертвые тела. Не было вовсе ракет, даже "Катюш" старых, с прошлой войны, не додумались подбросить. Вьетнамцам дают, а нам — нет. Сволочи! Комполка закричал:

— Да берите вы его!

Я было подумал, что "берите его" значит "прикончите его" и уже поднял автомат. Остановил взгляд полковника, полный дружбы, понимания и кроткого упрека. В нем было что-то вроде: "Может, хватит, а?"

Я с искренним сожалением опустил автомат. С некоторым недоумением поглядел еще раз на Лапшу, человека, воевавшего еще в Финскую на передовой и окончившего воевать — в последний раз, как он очевидно тогда думал, — в Маньчжурии в сорок пятом, тоже на передовой. Я убивал людей только что, об этом я знал, но вместе с тем у меня совсем пропало ощущение, что я их убивал. Для меня сегодня первым настоящим умерщвлением человека была бы автоматная очередь по Кириленко. Взгляд комполка не изменился. Вокруг меня застыли и чего-то ждали ребята. Вспомнилась, как глупость, что командиром-то Кириленко являюсь прежде всего именно я. Черт!

Мы прошлись по четверти лежащих или еще сидящих китайцев. С той стороны долины раздались автоматные очереди и крики — китайские и наши. Выстрелы стали приближаться. Наши! Полковник заорал:

— Назад, назад, говорю! Ну!

Выйдя из оцепенения, ребята бросились в гору, к нашей

старой позиции. Мне стоило побежать вместе с ними, чтобы спасти свою шкуру. И оставить этого дурака Кириленко своей судьбе. Как я ошибся! Он, плоский и широкий, напоминающий мне раньше злую силу природы, теперь продолжал безумно тыкать штыком трупы. Спотыкался, падал и на коленях, держа автомат, как штыковую лопату, не останавливался. Я стал смотреть на него, чувствуя, что зрелище не то сильнее меня, не то просто по вкусу. Даже захотелось ему помочь. От сумасшествия меня спасла пуля, попавшая в ногу Кириленко. Он ее сначала не заметил. Я подождал, пока Кириленко не начал падать набок, и только тогда подбежал, оглушил его ударом сапога в челюсть, взвалил его на спину и помчался под пулями назад к комбату и комполка, ждущим меня на возвышенности. Когда поднимался, пуля попала Кириленко в бедро, в кость. Его ждали дембель, инвалидность и пенсия. Я об этом ему сказал, но Кириленко не ответил. Только полторы секунды спустя, я, молча рассмеявшись — смех, лишенный воздуха, шевельнулся спазмой в желудке, — подумал: "А что ты можешь ответить, ась, сука, когда у тебя челюсть того самого и две родные пули в твоём дурном мясе? Ась? Что? Ну?"

Когда я добежал до позиции, мне показалось, что мои нервы, как мышцы, начинают рваться, расползаться, звенеть перед треском. Я упал вместе с Кириленко почти у ног комполка и стал корчиться в поисках сил и воздуха. У меня в кармане лежали две набитые анашой беломорины, и как только груди стало легче, появилось беспокойство — сильно хотелось подышать дурью. Оказалось, мне хотелось с самого утра, а может быть и всю жизнь, если до ней не было другой. Моя рука метнулась, нащупала, погладила жестяную коробочку в нагрудном кармане гимнастерки. Меня снова начало выворачивать, но желудок был безнадежно пуст. Комбат все рвался ко мне, а комполка его все останавливал. Я услышал:

— ...сь. Брось, ...е го...рю. Он сам, они сами должны. И ты тоже.

Я же смотрел со злорадством на Кириленко. Его перева-

зывали. Целы они, они целы, понял? Не смог ты их раздавить, сволочь! Проходили минуты. Небо было безобразно синим, воздух горячим и неподвижным, будто хотел удерживать всю грязь на нас и в нас. Никто не сопротивлялся. Все лежали опустошенные, кроме офицеров, они лежали там, где начинался спуск в долину и глядели словно в волшебное зеркало, как ребята с той стороны кончали своих китайцев.

У нас было семеро убитых. Они уже лежали рядышком, но еще не покрытые плащ-палатками. В такое душное лето плащ-палатки лежали, должно быть, позабытые до дождей в тайном углу тягача. Я поднялся на ноги и сразу упал — земля поднялась, дала пощечину. Чуть не заплакав от обиды, пополз к своему автомату. Солдатский рефлекс оказался сильнее всего остального. Подобрал его, потер рукавом и только после этого постарался вновь встать на ноги. На этот раз удалось. Я подковылял к трупам и только тогда понял, чего не хватало моим ушам во время атаки. Наш пулемет не работал. Лежали рядышком Хальфин и Скалкин — теперь они оба были равнодушные. По их лицам было видно, что они не почувствовали, как уходила жизнь. Умерли бессмертными, как случается с некоторыми во время наслаждения войной. Полковник еще чего-то ждал, потому что знал какую-то тайну, сидящую в человеке в такие минуты. А может, он просто знал наизусть, что происходит с солдатом после первого боя, тем более если он сопровождается резней? Может быть, но кому на свете нужно действительно знать о том, что знает старый полковник?

Это был наш первый бой, настоящий.

— Господи, господа, господа.

Меня обняли большие руки Крякина:

— Ладно, идем. Брось, нам повезло. Понимаешь, повезло. Все хорошо. Только не надо было тащить эту гниду на себе. Я слышал, что он тебе сказал о Хальфине.

А я совсем об этом забыл. Забыл! Слезы потекли у меня в голове, слезы из мыслей. Зубы заскрипели. Я вцепился в руку друга:

— Забыл. Правда, забыл.

— Брось. Мы живы.

Эти слова наверняка друг говорит другу уже десятки тысяч лет, после опасной охоты, боя. Не зря старик Конфуций говорил, что лучшее новое — это старое.

Я посмотрел на ставшую родной, как в детстве лицо матери, крупную физиономию Крякина. Она была серой, а выражение — крепким. Этот сибиряк мог сделать любую подлость, оставаясь честным. Его душа была больше его тела — потому творимые им дела порой его и не касались. Их делал другой, а назывался ли тот другой Крякиным, большого значения не имело.

На нас испуганно смотрел лейтенант из другой батареи Ломоносов. Да, еще чего-то не... Хальфин и Скалкин — это было еще не все. Рядом с ними лежал лейтенант Крошо. У него не было лица. Эта раздробленная человечья маска сразу вызвала в моей памяти глаза Крякина. Во время боя их выражение было на мгновение совсем особенным. Крякин несколько месяцев тому назад оказался единственным свидетелем — он видел, как лейтенант Крошо вместе с Ломоносовым крали поросят из полкового свинарника. С тех пор не было для Крякина жизни, были только страх и бессилие, которое рождает злобу.

Я был уверен, что не желтый человек прикончил Крошо.

По ту сторону маленькой долины ребята, добив на своем периметре всех китайцев, откатывались, таща и неся несколько своих убитых или раненых. Оттого, что мы смотрели на других, таких, как и мы, делающих то, что делали мы чуть раньше — произошедшее с нами уже отошло в прошлое. Только тут комполка отдал приказ об отходе. И все послушно вскочили, стали собирать все собираемое. Холодное, горячее, теплое безумие совсем уходило к сотням трупов внизу. Приходило сознание, что мы все прежде всего выполнили свой долг и приказ. Это было видно по жестам, скупым и ладным, по угрюмоватой сосредоточенности на лицах.

Наш орудийный расчет, т. е. мое отделение понесло наибольшие потери.

В остальных отделениях было в среднем по одному ранено-

му или убитому. Когда я закрыл глаза Хальфина, то запер в одном суетливого муравья. Случайно, без злобы.

Только в уже трясущемся тягаче сильно втянул в себя анашу. Тихий шум рощи, живущей в раю, окутал мысли, запеленал чувства, забаял душу.

Вахитов все же обжег себе руки стволом миномета, лизал их, поливая мир зверским матом, но избегая упоминать о своей и чужой матери. Его татарское произношение как бы напевало прощальную песню лежащему у его ног Хальфину. Вахитов был родом из крымских татар, Хальфин — из казанских, Скалкин — кацап. Они погибли, потому что какому-то китайскому крестину вздумалось послать на смерть черт его знает почему своих людей. Анаша усиливала свое действие, и я уже не мог рассердиться. Да и не хотел. Хальфина я по-своему любил — из него сделал солдата, пробудил в нем ярость, но не успел дать ему везения. Сколько раз видел в его глазах желание меня убить! Оно не успело уйти, оставить место холоду расчета, самой понятной части везения.

А война даже не началась. Забавно все-таки, ей-Богу, забавно. А Маркс был совершенно уверен, что войны между коммунистическими странами быть не может. А что, нет же ее, не объявлена. Вспомнилось мое короткое сильное желание обладать женщиной — я еще сильнее, до головокружения затанулся. Вахитов продолжал кричать:

— Где танки были, где техника?! Глупо это! А? Б ...!

Я его перебил:

— А гнилая селедка, разве это не глупо? А когда человеку стол падает на голову, разве это не глупо? А когда человека сажают за то, что он хотел добра, разве это не глупо? Так заткнись, а то дружок твой, может, на тебя уже смотрит сверху и смеется. А Скалкин усмехается... Вот что, ребята, что с нами будет — неизвестно. Может, мы еще им позавидуем.

Мои слова подействовали. Они, конечно, не поверили мне, но зато более ясно себя представили такими, какими они есть — живыми.

Жара усиливалась, пыль забивалась в рты. Это не помешало всем уснуть. Никто не уходит с первого поля боя таким,

каким ступил на него. В секунды уходит юность, меняется характер и нервы диктуют новое восприятие окружающего мира. Я не сомкнул глаз из-за анаши. Наблюдал, как возбуждение менялось бессилием — они почти падали в сон. Крякин уснул первым. Зря, зря я подумал, что он приговорил Крошо и привел приговор в исполнение. А впрочем, кто его знает, но скорее всего Кряк обрадовался свершившемуся.

Только на подступах к части я разбудил ребят. Тяжелый воздух дальневосточного лета был сильнее скорости тягача — вокруг нас еще витали неприятные запахи нашей неприятной метаморфозы. Я их почувствовал из-за того, что они смешались с запахом засохшей блевотины, пота, страха и жажды продолжать жить. Проснувшись, люди стали жаловаться на ломоту в теле, головную боль и прочие чудеса. Мариенко, один из моих подносчиков снарядов — их поэтому называли "подносами", — стал обстоятельно рассказывать Вахитову что, как и где у него болит голова и непременно хотел, чтобы тот его пожалел. Никто не смотрел на уже закутанных в плащ-палатки Скалкина и Хальфина. Лейтенанта Крошо унесли офицеры. Другой поднос, Врулов, стал с горячностью доказывать, что самая сильная мигрень именно у него. В общем, они славили по-своему жизнь, подсознательно радовались своему везению. На мертвых не обращали внимания не потому, что боялись... Мертвого человека обнимают как живого, пока он тепл. Смерть для нас в сущности дело температуры, а не биения сердца или движения. К холодному уже трупы испытываешь отчуждение.

— Хватит. Всем привести себя в порядок. Скоро будем в части.

Все посмотрели на меня в упор, словно не понимая. Я тайно умилится собственной хитрости.

Докурив свою беломорину, полез в вещмешок за своей бутылкой перцовки — делиться ни с кем не хотелось. Рука натолкнулась на бутылочку одеколona и кусок белой материи для подворотничков. Спокойная мысль пришла и улыбнулась.

Теперь люди смотрели на мои чистые лицо и гимнастерку, на ярко-белый подворотничок с изумлением, они были бы

больше потрясены, разве что если б увидели на ближайшей сопке стриптизницу из Лас-Вегаса.

Они были готовы выполнить любой мой приказ, даже застрелить парторга Барана. Пока они бешено приводили в порядок свое обмундирование, их сержант Никита Волков гладил осторожно пальцами запрятанную в вещмешке бутылку с перцовкой. Я смотрел на себя со стороны с удовольствием. Беспokoило все же одно новое сомнение — я уже не был уверен, что останусь живым и буду свободным, более того, теперь я уже не совсем понимал, для чего мне нужна свобода.

2.

Пока увозили убитых и раненых, все внешне здоровые люди молча занимались приведением в порядок артиллерийского парка. Не участвовавшие в операции ребята, даже офицеры, спешили помочь так, чтобы их готовность была видна всеми. Наконец, всех выстроили на плацу — парк с хоботами пушек и одним исковерканным пулеметом — моим — был теперь позади, впереди за деревьями была дорога, ведущая в деревню, теплый навоз, запах женщин. Я заметил на многих лицах угрюмовато-наивное выражение и сам с тоской подумал, что все произошло всего два часа тому назад — это было невероятно и очень просто. Нужно было постараться принять новую жизнь в себе с возможным спокойствием, уразуметь, что ничего вокруг не изменилось — что мы не только служим в мирное время, но и по-прежнему братья с китайским народом. Устав остается уставом, и завтра нужно будет заправлять койку, топать в наряды, в караул, командировки. Теперь это казалось глупым, ненужным, вроде, как если бы нам дали деревянные автоматы или конька-качалку.

У нашего полковника было усталое и очень гордое лицо:

— Я доволен. Наша часть не посрамила своего знамени. Задание выполнили с честью в указанный срок и... с небольшими потерями. Я слышал, что кто-то ворчит — нам, мол, не прислали танков или еще чего... Может, вам в следующий раз подать ананасов в шампанском? А?!

Я хохотал вместе со всеми. А что можно было еще делать? Комполка хотел, чтобы мы хохотали — мы и хохотали. Ананасов в шампанском никто из присутствующих не пробовал, может быть, комполка несколько десятков лет тому назад в Германии. Ананасы? Я не мог остановить свой смех да и не хотел.

— Равняйсь-ь-ь!

Полковник по-отцовски оглядел замолкшие вытянувшиеся ряды:

— То-то! Воевать надо с тем, что есть. С танками и дурак может. Теперь, вот что: все сегодня случившееся — военная и государственная тайна. Не писать домой, не болтать... Смотрите, губой не отделаетесь.

Я заметил подошедших к плацу подполковников Барана и Вогаева. Парторг и замполит были покрыты, как и мы, пылью — значит участвовали в операции. Но Баран — для меня это было важным — к нашему оружию не подходил. Почему? Лапша продолжал говорить, и так случилось, что он произнес мою фамилию как раз в то мгновение, когда к Барану и Вогаеву подошел лейтенант Ломоносов. Я похолодел, как от удара судьбы.

— Младший сержант Волков, выйти из строя!

Автоматически выполняя приказ, я смотрел на тех, шепчущихся — обо мне, конечно, обо мне! О ком же еще? И до этого как раз мне было дело. Если подыхать, думал я, то уж от желтой заразы, в бреду боя, а не, как некоторые, с внешним позором и скрытым благородством. Лучше быть убитым пулей или осколком, чем неблагодарной истиной.

— Сегодня сержант Волков, рискуя своей жизнью, спас товарища. К сожалению, могу только объявить ему благодарность. Есть и другое — сержант Волков, рискнув жизнью, тем не менее не забыл привести себя в порядок. Посмотрите на его подворотничок. Берите пример! Младший сержант Волков, объявляю вам благодарность!

Я теперь знал, что Барану посадить меня будет гораздо труднее, чем раньше. Ореол — не фунт изюма... Парторг Баран поклялся меня сгноить по многим причинам. Во-первых, он

плохо знал историю партии, на что я постоянно намекал, во вторых, я достал для его молодой жены томик Пастернака, в-третьих, я... за это он поклялся меня убить, в-четвертых, ему не нравилась моя биография, в-пятых, он думал, что я антисемит, в-шестых, что я антикоммунист.

— Служу Советскому Союзу!

Каждый раз, когда я произносил эту уставную фразу, она меня по-новому поражала своей тупой силищей. Я чувствовал в себе, пока произносил, вспышку бешеного фанатизма и знал себя в эту секунду непоборимым.

Лапша дождал моего исчезновения в рядах и продолжил, уже совсем широко улыбаясь:

— Увольнения запрещены. Так что порядок будет следующий: сегодня после обеда — баня, после бани — свободное время, и на завтра объявляю выходной, тем более, что завтра — воскресенье. Удачное совпадение.

Топая к столовке, я догадался, что на самом деле комполка меня благодарил не за то, что я сделал, а за то, что я не сделал — за то, что я не пристрелил Кириленко. Было бы ЧП и у Лапши были бы неприятности. Старик хотел дожить спокойно до пенсии. Это было мило, даже трогательно.

В столовке царствовала прежняя вонь, по-прежнему тарелка с мясом ставилась под стол — чтоб не тянуло на рвоту. Но на этот раз — из-за случившегося утром — двоих все-таки вывернуло. Селедка расползалась, каша напоминала слипшиеся кишки, но ее уплели начисто, как это обычно делают здоровые люди после тяжелой работы. Затем все долго, благо никто не следил за временем, наслаждались компотом — вода была на этот раз приятно разукрашенной.

Наряд по кухне, разнося бачки, глядел на нас во все глаза — мы были для них уже не совсем обычные существа, скорее, принадлежащие не к ихнему, а к воевавшему поколению наших папаш.

Разговор за столами касался в основном возможного отпуска — будто не начавшаяся война уже кончилась. Удовольствие на лице комполка заставило многих броситься в мечту. Те, не вступившие в дембельский год, говорили и повторяли

о родном, до вкуса на губах, доме, о девках, которых раньше, на гражданке, едва замечали, чтобы влюбиться в них письмами. Влюбляться в далеких женщин было легко — на них память давно спотыкалась. О лучшем в мире рубоне, мать, конечно, его готовила так, что вся деревня или улица прыгала от одного запаха.

Некоторые начинали вдруг с жаром думать вслух о необыкновенном утре в жизни, но, сразу ощутив в себе что-то вроде сильного смущения, умолкали на несколько выдохов и затем продолжали тараторить только о свободе, то есть об отпуске.

Другие знали, что во время дембельского года отпуск только высшая счастливая случайность и думали, что теперь из-за китайцев — покончили их всего горстку — теперь могут отложить дембель до особого постановления, и что — чем дурость не шутит — могут в ожидании и убить, сволочи желтью, всякие. Они ругали блеющих оптимистов. Один старик все же произнес с длинной надеждой в голосе:

— А может, все же осталось сорок бань?

После принятия пищи ходко потопали в парилку. Освободилось тело, выталкивало из своих пор грязь и вместе с ней немного и дурной совести — с телом белела и душа. Адирин непременно подсел бы ко мне со своими упреками, выскивал бы царапающие слова о значении убийства раненых. Быблев дождал бы ночи, чтоб помолиться за себя, нас, их, тех самых, оставшихся на той равнинке. Хальфин смотрел бы на меня своим преданным взглядом — что скажу, то и правда. Хлестнув себя веником, подумал с грустью: "Вот уже обступают меня тени".

Вечером я ощутил невыносимое желание быть шикарно одетым. В каптерке у старшины лежали мои новые дембельные хромовые сапоги, святаыня, символ свободы — купил их по дешевке у пропившегося вконец офицера. Я должен был, по неписаному солдатскому закону, натянуть их только для того, чтобы вступить на дорогу, ведущую к дембельскому эшелону. Нарушителю грозило прийти в полный рост солдатское несчастье.

Но в тот вечер я не выдержал. С особым — потому что слишком терпким — удовольствием засунул в голенища свои целые, живые ноги, об этом четко подумалось, и шупал, мял мягкую кожу с силой, нежностью, будто она была плечами доброй женщины. Надел запасную гимнастерку. Дембельскую все же побоялся. В приметы можно не верить, но пренебрегать ими с наглостью нельзя — тело все равно заставит испугаться и совершить глупость.

В солдатском клубе шел в очередной раз бесплатный "Чапаев", но зато в Доме офицеров продавались билеты на американский ковбойский фильм "Великолепная семерка". Я пригласил никогда не имеющего денег Крякина. Почти все пришедшие старики, из тех, кто участвовал в утреннем бою-бойне, были в дембельских сапогах — мы глядели друг на друга и смущенно-понимающе улыбались. На экране семеро парней довольно весело кончали мексиканских бандитов. Зал хохотал и я вместе с ним. Ни одной лопнувшей головы, ни одного сантиметра выпущенных кишок. Точно, как в наших военных фильмах. Я никогда раньше этого не замечал. И понял, почему бывшие фронтовики не ходили глядеть на фильмы о войне; дело было не в пробуждении тягостных воспоминаний — многие даже собирались, чтобы вспомнить, а просто в нежелании поглядеть лишний раз на ложь о себе.

Я был уверен, что единственный в зале, в городке, на всем Дальнем Востоке, сумел сцепить эту кинокомедию с нашим прошлым и настоящим.

Фильм кончался, растекался по экрану смешными трупамми. Крякин, хохоча до икотки, бил меня локтем в ребра: — Ну, дают, ну, дают... Гляди, гляди.

Я не смеялся. Просто глубоко радовался. После сегодняшнего утра и всего, что во мне произошло, я очищался свободной мыслью. Я был еще способен быть самим собой. И я еще гордился тайно, что нашел в себе силы тогда, в тягаче, пришить чистый подворотничок. Я, в сущности, должен был оставаться самим собой, быть настоящим сержантом и быть, таким образом, без пощады к китайцам, раненым или нет. Не много ли? На этот вопрос я предпочел, как обычно, не

ответить. Кому нужно? Может, этой самой жизни, может, этой самой смерти, а может, и никому.

Идя со мной к казарме, Крякин вдруг зло хихикнул, ткнул рукой в сторону границы:

— Слышь, Никита, они там, небось, гадость всякую смотрят, а? Знаешь, я рад, что тебя не убили и еще не посадили. Будем вместе, авось, и лучше так будет. Мы уже многих потеряли.

Я с облегчением в душе хлопнул его по плечу:

— Конечно. Чертяка. Старый фронтовик.

Ночью в казарме тут и там раздавались крики бесившегося подсознания спящих людей.

Иногда они были тягучими:

— Не-е-е-е, ма-а-а-ма!

Бывали зло резкими:

— Блядь! На! Блядь! На, на!

Утром на построение, после завтрака, пришел майор Зорин, подошел ко мне походкой старого учителя:

— Привет, сержант. Все на своих двоих ковыляешь? Это хорошо. Знаешь что, пойдём-ка на рыбалку, а? Вот и хорошо. Я уже сказал твоему капитану. Баранку вертеть сумеешь? Хорошо, хорошо. Плохо умеешь? Ничего, это тоже хорошо. Идем.

Зорину явно хотелось побеседовать с человеком, чей ум не закрепощен. Не удивительно, что он выбрал меня, которого считал недругом своей страны или ее режима. Я подумал: "Интересно, понимает ли майор разницу?"

Прав водительских у меня не было, но Быблев успел научить азбуке вождения. Майор поглядел на мои усилия — нужные скорости никак не переключались:

— Угробите вы нас, сержант. Да ладно. С тех пор, как скакал на джиппе по минным полям, и не один месяц, совсем перестал водить. Руки дрожат, и в желудке образовывается всякая пакость. Так что себе, как шофера, предпочитаю даже вас.

Этот переход майора на "вы" означал приближение важного разговора.

Уссури текла пьяной, спотыкалась о валуны на середине своего русла, бросалась водоворотами к берегу. Наверняка какой-нибудь китаец глядел в эту секунду на ее воду точно, как мы, с приятной грустью.

— Они называют Уссури рекой смерти — в некоторых местах она как будто раздваивает свое дно. Первое дно, второе, а посередине зверское течение. Какое дно настоящее — никто не знает и знать не хочет. Всех интересует только та вода, что посередине — потому что губит... Люди почти всегда путают доброту со слабостью. Волков, вы, кажется, вчера спасли человека? Я в это не верю. Полковник ошибся.

— Он не ошибся, но вы правы.

— Вот как?!

— Да.

Мы молча разматывали снасти. Черви у Зорина были навозные, жирные.

— Жена накопала. Она у меня деревенская.

Он поглядывал на поплавок, лениво вертящийся по кругу широкой водоворотни, с вялостью пресыщенного рыбака. Во мне же просыпался азарт. Дело было не в том, что я был рад жизни и потому хотел ощутить рукой рывки рыбы, борющейся за свое исчезающее существование. Сидеть вот так, свесив ноги, было для солдата осуществившейся мечтой. Мышцы были безмятежны — только одна в руке приятно дрожала, готовая подсечь. Рыбы было много. Она была жадной и глупой. Но большой радости все равно не получалось — верх моего мозга скрипел и постукивал о череп, глаз все косил на зоринский рот. Я все хотел при каждом клеве добраться до хотя бы секундной тишины мыслей... Майор отбросил раздраженно удилище, налил стакан водки, резко протянул мне его, подвинул тарелку с куском кабаньего окорока:

— Ну, что вы думаете обо всем этом, Волков?

— Можно мне сначала выпить и закусить, товарищ майор?

— Бросьте! Вы что, думаете, что у меня под полой магнитофон?

— Быть может — береженого Бог бережет!

Зорину было невтерпеж, этому старому вояке было необходимо до боли сказать накопившееся, но только тому, кто не мог продать — нужно было, чтобы в случае чего ему бы не поверили — и тому, кто бы мог понять.

Я все же заставил майора распахнуть китель — приятно время от времени унижать человека, которого выделяешь среди других.

Затем я выпил. Водка хлынула в гортань, зашептала разное полузабытым чувствам.

— Слушайте, Зорин, по лицу вижу, что вы рады тому, что вчера случилось. Почему?

Лицо майора оживилось:

— Видите ли, я же майор, можно сказать, случайно... Это было уже давно. Наставил одному милому человеку рога, а затем, напившись — горяч был — набил ему морду. Все дело в том, что этот милый человек стал быстро генералом, а теперь он маршал, а я, следовательно, всего лишь майор. Классический случай для любой армии мира, цивилизованной, конечно. Но вот друзья мои, не мне в пример, росли в чинах и званиях, на охоту вот часто приглашают, спрашивают, ценят мое любопытство и способность не только долго размышлять, но и признавать собственные ошибки, качество довольно редкое для военного. Поэтому, кстати, военные диктаторы почти всегда глупы.

Я не мог не усмехнуться. Этот майор был весьма похож на заговорщика:

— И что же?

Зорин жадно выпил:

— Слушайте внимательно. Китайцы на нас не нападут. Согласно последним анализам компетентных людей, им нужно лет двадцать, может, немного меньше, чтобы нас догнать, и это в том только случае, если наша военная промышленность была бы неподвижной.

— Как же объяснить в таком случае их агрессивность? Майор поднял палец. Глаза его блеснули:

— В том-то и дело, что многих в генштабе это приводит в недоумение. Разговоры о плохой и даже вредной разведы-

вательной работе начались давно. Некоторые выдумали какое-то тайное китайское оружие. Люди помнят только о якобы ошибочных разведданных, полученных Сталиным и Генштабом до начала войны. Они идиоты, не знающие, что разведывательные данные имеют всегда две стороны — военную и политическую. Разведывательные данные были отличными, но Сталину было невыгодно считать немецкую армию более сильной, чем его собственная, — и это только потому, что ему были нужны для подготовки к войне еще три года. Он был уверен, что война в Западной Европе будет длиться долго, он дико матерился, когда узнал о падении Франции и радовался, когда немцы застряли в Греции. Ему не дали нужного времени, и он было решил в начале войны, что проиграл. Но разведданные здесь ни при чем. Разведчику легче их добыть, чем убедить в их правильности свое начальство, если последнему они политически невыгодны.

Я слушал и вынужден был себе признаться, что совсем забыл о рыбалке. Изредка я выпивал, не очень чувствуя вкуса, стакан водки:

— Вы не ответили до конца на мой вопрос.

— Верно, я шел к ответу. Китайцы знают, что они слабее нас и уверены, что и мы это знаем. Поэтому они прибегают к старой их хитрости — они ее применяли еще в борьбе с хуннами. Эта хитрость заключается в том, чтобы время от времени посылать к врагу, на верную смерть, отдельные воинские части, а затем извиняться и заявлять, что, увы, не могли удержать молодых людей. Враг на основании случившегося оценивает весь народ, его армию и делает вывод, что начинать войну пока не стоит.

Я посмотрел на Зорина с нескрываемым удивлением:

— Вы хотите сказать, что нужно начать войну с Китаем?

— И как можно быстрее.

Он посмотрел на меня с добродушной насмешкой. В душе и мне теперь хотелось войны, покончить с ними раз и навсегда — а после сразу дембель, свобода. Война? Мне было странно рассуждать с человеком, который, в сущности, был куда большим изменником, чем я, со всеми моими антиком-

мунистическими мыслями. Всякое выступление против существующей власти называется либо изменой, либо патриотическим подвигом. Нужно только выбрать. И тут я вдруг понял, что Зорин недоговаривает, и о чем он недоговаривает. Но решил сказать ему об этом только напоследок, только если вынудит.

Вода под ногами становилась белой от жары, воздух был грузным, без доброты. Водка начинала выхлестывать острожность:

— Нужно быть все же реалистом, майор.

— Да? Ну-ну. Говорите. Необходимо по возможности знать мнение врага.

— Какой же я враг, Николай Петрович, что вы!

— Не беспокойтесь, Волков, я имею в виду философию, метод мышления. Говорите.

— В общем-то не сомневаюсь, что мы можем разбить китайскую армию и разрушить ихнюю тяжелую промышленность. Хотя я думаю, конечно, что сделать это гораздо труднее, чем вы говорите. Но оккупировать такую территорию с почти миллиардным населением бессмысленно, хуже — глупо. Вы никогда не сможете долго ее удержать — коммуникации будут растянуты до невозможности, в результате чего очень скоро у вас будут в руках только города с вооруженным народом вокруг них. Можно пойти прямо на Пекин и посадить сидящее в Москве желтое правительство. Но это в корне не изменит положения. Как ни вертись, Николай Петрович, а все равно получите на голову перманентную войну, не говоря уже о зверской партизанщине на оккупированных территориях. Кроме того, в случае нападения на Китай, существует потенциальная возможность войны на два фронта. А это, сами знаете, гибель. Не только для вашей власти, но и для России. Нет, нет, я вовсе не утверждаю, что США могут объявить нам войну. Но вы должны вспомнить, что было в ГДР, Польше, Венгрии и вот недавно в Чехословакии. Неужели вы думаете, что в случае затяжной войны с желтыми наши белые "друзья и меньшие братья" не воспользуются ею?

Майор Зорин слушал меня внимательно, шевелил губами, будто запоминал. Его глаза превратились в голубые стекляшки.

— Для военного слово есть разбег перед прыжком. В том, что вы сказали, смысл есть, значит и дело. Однако, либо по молодости, либо по врожденной либеральности (у некоторых она в крови, в подсознании), вы не можете понять тотальной войны. Американцы тоже не понимают, поняли бы — не смогли бы действовать, их система бы не позволила. Именно поэтому их возня во Вьетнаме была обречена на поражение. А мы бы победили. Почему? Я вам скажу одну истину, китайцы знают ее давно.

Николай Петрович перевел дух, вытер пот, выпил залпом стакан водки, не закусил. В его голосе была тихая торжественность:

— Когда у человека убивают мать, чего хочет человек? Отомстить! Когда у человека убивают отца и мать, чего хочет человек? Отомстить! Когда у человека убивают отца, мать, сестер, братьев, родственников, когда убивают соседей, когда вокруг него убивают людей как будто бессмысленно, что для него вдвойне ужасно, чего хочет тогда человек? Жить! Жить и только жить! В этом тайна тотальной войны. С народом, с частью народа нельзя воевать так, будто народ — армия. Почему вам приказывают не брать пленных и добивать раненых? А?

Я не ответил майору. Мир был на моих плечах, а в глазах готовы были родиться отвратительные видения будущего. "Нет и не будет покоя и не выбраться мне из этого кровавого дерьма". Меня лишь немного поразило то, что каждое слово майора было для меня знакомым. То, что он говорил, будто уже давно было во мне и выскочило легко при первом же призыве извне. Оно было во всех, иначе стреляли бы мы так легко в раненых людей? Майор был прав... почти во всем. Мне оставалось нанести ему решающий удар, самый для меня опасный.

— Я с вами согласен, тотальный террор совершенно необходим, когда воюешь с народом, своим или чужим — все

равно. Он действительно может быть залогом победы, но, повторяю, только в том случае, если война ведется не на два фронта.

Майор резко насадил дергающегося червяка на крючок:

— Американцы не тронутся. А если они посмеют помочь предателям... Венграм в пятьдесят шестом повезло... Если б американцы им помогли, то...

Я посмотрел ему в глаза:

— Они боролись за свою свободу.

Зорин поднял брови:

— Я думал, что вы умнее.

— Я умнее. Просто хотел сказать, что бороться за свободу дело естественное. Нужно просто знать две вещи: что такое свобода и что ее противник теперь ослабел. Только и всего. Но есть еще другое, главное, то, что вы, быть может, не сказали или не подумали. Политбюро никогда без крайней необходимости не даст вам, офицерам, возможности победить, прославиться, усилиться. Контроль над вами важнее победы, важнее, само собой, целых армий. Сталин это понимал. Пока гражданские у власти, они не дадут вам возможности атаковать.

У Николая Петровича глупо раскрылся рот. Он оглянулся, пошарил взглядом по воде, поглядел внимательно на небо. Наконец прошептал:

— Вы понимаете, о чем вы говорите? До вас доходит смысл ваших собственных слов?

Он стал спешно складывать свое удилище. Удивительная рыбалка заканчивалась. Уссури продолжала течь. Вполне возможно, что завтра я буду не только жив, но даже не арестован.

Майор заговорил только в нескольких километрах от части. Лицо его вновь подобрело:

— Волков, нельзя все-таки быть таким неосторожным. Неужели вы не понимаете, что, ловя сегодня рыбку, вы подвергали свою жизнь опасности большей, чем вчера?

— Понимаю, но надо же иногда рисковать.

— Чем меньше, тем лучше. Знаю, что жизнь — копейка.

Такова уж наша работа... Но не ваша. Я вам благодарен за доверие. Потому сам рискну, правда немногим, но все же... Баран хочет вас погубить.

— Это не ново.

— Да, но вы не знаете, что завтра он вас пошлет патрулировать вдоль границы с вашим отделением. Он устроил так, чтобы к вам не приставили офицера. Приказ будет: уничтожить всех перешедших границу китайцев. На деле это будет только половина приказа. На деле нужно кончать только военных. Вы понимаете?

Не ожидая ответа, он протянул мне большой бинокль. Зорин действительно спасал мне жизнь. В моем положении отдать приказ перестрелять группу гражданских лиц... По головке не погладят.

А может, все суета сует? Вернувшись в казарму, спросил у дневального:

— Где?

— Зубрят. Узнают, что хорошо и что плохо, мать твою.

— Скоро дембель?

— Не говори. Как до луны. Но я дождусь!

Дневальный произнес последние слова с таким жаром, что сам смутился.

— ...А что, — оправдался он, — не вечно же тут гнить.

Нет, не все суета сует, есть и нечто, за что стоит соплями облиться.

Пустая казарма придала мне силы, подчеркнула мою особенность, напомнила о честолюбии, о том, что я хочу победить Барана.

Мне нужно было перед боевым заданием — по идее парторга нашего милого оно должно быть последним — запастись перцовкой или хотя бы самогонкой. Эх, услышал бы дневальный наш с Зориным разговор! Всем жить охота, даже козявке самой малой. И мне тоже, да еще с добавочкой.

Топая в самоволку и смакуя вольный воздух, я впервые понял, что оба мы с Бараном никак не сможем остаться в живых. Последнее время для меня понятие жить значило остаться в живых. В сущности, у меня не было тыла.

В деревне водка отсутствовала. Пошел к дяде Степе, бывшему в сталинские времена "углом". Теперь он доживал свой век с одной мыслью — не работать. Красть или покупать по дешевке сахар считал каторжным трудом, а глядеть, как из аппарата капает самогон — мучением.

— А что? — говорил он. — Не для потрохов капает, для денег всего лишь. Знашь, как бывает? Гляжу, как кап-кап, рвусь к запаху, одно звучание печенку волнует, а тут нет, жди, собирай, продавай.

— Так ведь, дядь Степа, на деньги можно ведь купить чего хочешь.

— Вошь ты дурная. Я тебе о мучении, о душе, можно сказать, а ты мне о кремлевках.

Дядя Степа встретил меня насмешливым:

— Косоглазые далеко?

— Скоро придут и тебе, старому козлу, кол в ж... воткнут и будут ждать пока самогон вытекать начнет. Понял?

Старик быстро задвигался. Ему могло быть сорок и шестьдесят — беззубый, морщинистый, со сволочными, уже полинявшими глазами, дядя Степа был из тех людей, для которых мерзость естественна, но — только привычная. Когда он слышал от человека что-либо новое, то боялся, так как считал того человека психом.

— Ты чего, чего такое говоришь? Сдурел, что ли? Чего тебе?

— А ты знаешь, что китайцы наших стариков любят?

— Как?

— А вот так, возьмут и...

Старик замахал руками и забыл о том, что надо торговаться. Он сам по пьянке рассказывал, что уже не девственник — старые урки любят свежее мясо, а Степа — трудно поверить — был молодым.

Купив по дешевке два литра, я, довольный собой, не оглядываясь на проклинующую меня развалину, пошел обратно к военному городку. Солнце, уходя к вечеру, продолжало окутывать все тусклым беловатым маревом. Засунув пилотку под погон, остановился. Сесть на губу? Выйду — парторг будет тут как тут. Отрубить себе руку? Глупости. Присяга

есть присяга, но она не относится к Барану, — он первый нарушил ее, как и свой долг, как и уставы.

— Малумян!

Эта фамилия выскочила сама по себе. Я теперь знал, как избавиться от парторга. Я постарался взглянуть на солнце, прищурился. Торжество наполнило грудь. Всю дорогу до самой казармы я тихонько напевал: "А твои детки будут сиротками".

3.

На следующий день, не успев встретиться с сержантом Малумяном из соседней батареи, получил приказ шарить вдоль границы и уничтожать врагов, китайских агрессоров, посмеющих сунуть к нам нос.

— Стрелять без предупреждения.

— Есть! Так точно, без предупреждения.

Капитан отвел глаза в сторону. Он не понимал происходящего. Почему еще не заменили Крошо, для чего в мое отделение перевели штабную крысу рядового Соколова, а не другого парня из любого расчета, почему, наконец, ему не дали возможности самому выбрать людей для этого задания — глупо ведь посылать оружейный расчет, только-только потерявший двух человек и литера.

Кроме Соколова мне преподнесли на подносе, вероятно, вместо Хальфина, Мыколу Кропанюка, украинца-галичанина. Не хватало мне только Западной Украины!

О Кропанюке мне рассказал — год назад что ли? — убитый нашим танком Быблев. Отец Мыколы воевал с немцами четыре года. Вернувшись домой, застал там восстание против советской власти. Офицерами у западных украинцев были перешедшие границу поляки — они, пожалуй, действительно, имели право нас не любить — мы напали на них вместе с немцами, затем остановились, когда они в Варшаве восстали без разрешения. Старик, великий вождь и папаша всех народов, был явно недоволен тем, что поляки сами захотели, понимаешь ли, освободиться. Ну, а если вспомнить, как мы еще

давным-давно делили Польшу и прочее, то... В общем, восстание в конце сороковых годов на Западной Украине также не могло привести в восторг хозяина, вот он и приказал спецвойскам объяснить этим людям, что такое свобода. В то время Мыкола и родился. Мать отнесла его в ближайший городок к двоюродной тете. Это его спасло. Много десятков деревень было снесено, погибло много населения. Боеспособных мужчин либо стреляли на месте, либо вешали. Отца повесили — взгляд у него был, наверное, твердый и кому-то не понравился. Мать изнасиловали и убили. Сестра и брат погибли в горящей хате. Оставшихся в живых посадили в эшелоны и погнали в Сибирь и на Дальний Восток. Оставшиеся в живых после эшелонов до сих пор живут тут и глядят на сопки, как на подсолнух.

Что я тогда мог ответить Быблеву, если не: "Тебе, олуху царя небесного, пора знать, что у нас методом государственно-го управления долго служил неограниченный террор. Понял? Нет? Это когда заведомо уничтожают невиновных. Теперь понял? Да, это ужасно, но вовсе не глупо. После поймешь". Быблев так и не успел. Я тогда добавил: "Я понимаю чувства и разные там сентенции твоего дружка, но не хотел бы я его иметь в своем расчете. И иметь его у себя за спиной!"

Теперь Кропанюк сидел позади меня в тягаче и возился с минометом. Крякин спал, человек парторга Соколов рассказывал штабные сплетни, Вахитов чистил пулемет, считал гранаты. Мариенко и Врулов пели блатные песни о сломанной гитаре и погубленной жизни. Мой водитель Заварухин по обыкновению молчал. Он искренне верил в Бога и в коммунизм. В Бога, потому что хотел, в коммунизм, потому что для него другого земного пути не существовало. Я должен был сохранить по возможности в целости весь этот народишко, даже Соколова /а жаль/, для чего следовало прежде всего держать всех ребят в ежовых рукавицах, но вместе с тем никого не ожесточить против себя — мне было нужно, чтобы в случае чего все свидетельствовали о неправдивости доносов Соколова. И необходимо было, само собой, выполнить так или иначе задание, то есть не дать воли ребятам палить куда

попало. В общем, опять основная для меня опасность была скорее, позади, чем впереди.

— Без моего приказа огня не открывать. Чего бы ни случилось. За нарушение приказа в боевой обстановке... пристрелю на месте.

Я повторил свою угрозу несколько раз, но в ее силу не очень-то верил. Они больше боялись быть убитыми китайцами, чем мной. Жаль, но ничего не поделаешь. Я сказал потихоньку Крякину:

— Следи за ними. Иначе я последую за Адириним в лагерь или за Быблевым на тот свет.

Деревушки на пути встречали нас с радостью. Бабки выносили еду, молоко, мужики иногда угощали самогонкой.

— Вы что, вдарить им не можете? Да так, чтоб охота у этих желтомордых пропала, а?

— Да этим и занимаемся, папаша. Не слышал, как им всыпали?

— Слышал, но их много. Тайгу ведь не вырубить. И чего они так детишек плодят. Не от сытости ведь!

— А у них, папаша, вечером свет вырубают. Что будешь в темноте делать, если на своей бабе не кататься, а?

— Может, и так. Сам знаю, бывало, когда движок портился. Но все равно ведь с умом надо. Бабы у них что, не знают, как...

— Пойди да спроси.

Страх у людей был, но он не был силен верой в действительную возможность катастрофы. Я в нее тоже не верил. Зорин был, пожалуй, прав. Вырезать несколько наших сел значило автоматически навлечь на себя репрессии, может быть, войну. Не могли бы все-таки наши промолчать. Кончать солдат, это одно, целые деревни — другое.

Граница была, как мертвая. Я охотился украденными в оружейке патронами — дичи было полно. Фазаны чуть ли не садились на голову. На третий день утром сел в кабину к Заварухину:

— Скоро будет поселок. Скажешь ребятам, что у тебя не-

поладки в моторе. Смотри, штабная сука ничего не должна знать. Тронемся только на следующее утро. Понял?

Заварухин закивал головой. В глазах его была просьба. Ясная и понятная.

— Не бойсь, я тя вечером сменю у тягача. А пока Вахит те притащит разного.

Заварухин засиял. "Эх, люди — подумал я. — Да и то ладно. Лишь бы не думали. Хорошо, когда солдат лишает себя сложных мыслей. Если б я так мог!"

Деревня была вшивым колхозиком — так и воняло бедностью. Но за десятку мне и Крякину дали в самой большой хате еды от пуза, даже мясо было. Не забыли и водителя. Суетливый хозяин все поглядывал на автоматы, все спрашивал, спущен ли предохранитель. Вместо ответа я спросил:

— Безмужние есть у вас тут?

— Да где их нет?

— А к солдатам они добрые?

— А чего бы нет?

— Молодые?

— А что, разве старый конь борозду портит?

Сытый, слегка уже хмельной, Крякин только посмеивался, потом вдруг встал во весь рост:

— А что будет, хозяин, если я тебя стукну?

Колхозник пробормотал:

— Жевать нечем будет, вот что.

Получив нужные указания, облюбовав дом солдаток, поглядев сытыми глазами на сопки, пошел с Крякиным к селю. Хотелось вина, а в таких захолустьях и можно было отыскать порой даже грузинское "Мукузани" — для местных жителей оно было слишком слабым и стоило слишком дорого. Крякин сказал глубокомысленно:

— Все-таки жрать мясо штука необыкновенная. Это из-за мяса тебе вина захотелось.

В загаженном мухами селю около буфета валялся солдат. Мы было отпрянули. Рядом с другом сидел на табурете сержант. У них были красные погоны. Мгновенно овладев собой, кивнул Крякину. Тот ринулся к окну, ко второму.

Пусто. Краснопогонников было только двое. Что здесь могли делать внутренние войска? Так близко от границы лагерей не было, не было и важных объектов. Дезертиры, что ли? Нет, они бы переоделись, не стали бы они вот так пить в открытую. Я тут вспомнил сказанное как-то майором Зориным: "Вы что, серьезно думаете, что укрепления вдоль границы создаются стройбатом? Конечно, нет. Вы отлично знаете, что работает дисбат. Но не только. Простые эки тоже вкалывают. А как же! Кому, как не преступникам укреплять наши священные границы. Им и искупать свою вину трудовыми подвигами".

У сидящего сержанта глаза были настолько тупыми, что казались мудрыми. Он глядел неподвижно на свой стакан с перцовкой. Вина не было. Но и перцовка была сладостью для нас, давно ее не пробовавших.

Я заорал:

— Американцы идут!

Крякин:

— Ты что, б...! Китайцев не видишь?

Сержант скривил нос, стал на нас глядеть. Я его толкнул в плечо:

— Эй, сволочь, как дела?

Тот брякнул:

— Ты мне не дружи... Называй товарищ.

— Ну, товарищ, если хочешь. Тебе же хуже.

Краснопогонник вдруг рассмеялся:

— Вот-вот, сегодня ты мне товарищ, а завтра товарищем тебе будет тамбовский волк, понял!? У нас таких, как вы, много... Потратишь патрон — и домой, побывочку дадут. Понял? Но я не такой. Благодарите Бога!

Крякин наклонился к моему уху:

— Он что, нас за эков принимает? Дай мне его, дай. Все будет тихо. Никто не найдет. Я их сам закопаю.

— Брось.

— Этот самый, может, нашего Адирина вчера...

— Брось тебе говорю. Молчи!

Краснопогонник поднял наконец глаза, поглядел на наши автоматы, потряс головой, удивился, обрадовался. Раскинул руки:

— Ребятки! Каким тупым ветром вас сюда занесло? Небось, в колхозе вкалываете. Садись, давай-ка горе бутылочкой размыкнем. Деньги у вас есть?.. И начхать мне, что бездолье в душе и бездожде в кармане. Ну, давайте, солдатня, чего боитесь?

Он указал на Крякина пальцем и сказал с пьяной горечью:

— Боишься. Боишься, что я тебя щась за ушко да на солнышко, да?

Я не успел задержать руку своего заряжающего. Кулак ткнулся не сильно в зубы краснопогонника. Тот упал, по-детски закричал, что нас всех посадят. Появились слезы, сопли. Устав материться, он сказал тягуче, как маме:

— Все надоело. Вышка, проволока, люди разные. У вас в части сколько политики в день? Час? Два? А у нас по четыре, по пять часов. А с тех пор, как привезли изменников родины, то и вовсе замучили политдолбежкой. Даже между сменами, даже в столовой они стали толдычить свою ахиною. Жизни не стало. Мне, знаешь, шо кажется? Что я никогда не вылезу, что не служу, а срок отбываю. Щас легче, в командировке всегда легче.

Кряк удивился:

— Какие такие изменники родины?

Краснопогонный сержант хрипло рассмеялся, высосал стакан перцовки, вытер губы о дерево стола:

— Мозги у тебя, видно, заболоченные, раз этого не знаешь. Где тебя мама родила? Изменниками родины, малютка ты моя, называются политические. А вот почему — не знаю. Не спрашивай. У нас офицерье о них всякие байки рассказывает, будто я слепой и глухой по-особенному. Но почему на самом деле — не знаю. Понял? И вообще, чего спрашиваешь?

Краснопогонник вдруг принялся к моей "беломорине". Зелья у меня оставалось мало, но после такого обеда я не выдержал. Он хмыкнул:

— Ты что это, сержант, никак косяк тянешь? Анашкой балуешься. Хошь, продам? Зэки только этим и занимаются в свободное время, что ее собирают, ну, те, что могут. Они ее всю отдают за буханку хлеба. Им хлеб нужнее забытья.

Краснопогонник с трудом встал, подошел к своему другу, храпевшему на полу, и вытащил у него из кармана галифе тряпку. Анаши в ней было на голубиное яйцо.

— Дай пятерку — все твое.

— Рупь.

Краснопогонник мотнул головой:

— Ты что, того? Рубль за столько!

— Не ты же ее добываешь, сволочь. У меня только рубль. А ты себе сколько хочешь достанешь — на то ты и красная погона.

Тот разинул в улыбке пасть:

— Давай. Хоть и сволочишь, а друг. Мы сюда придем в следующую субботу. Нет у вас монет, притащите сала, мяса, хлеба, ну, побольше съестного. Вы мне ситное, я вам анашу. Честь по чести... Хотя, какая тут честь.

В его словах было вновь столько неподдельной горечи, что Крякин невольно протянул ему руку, сказал:

— А часть, ну, ситного, что мы принесем, ты отдашь зэкам?

— Конечно. А как же. Я не жадный.

Мы вышли из сельпо, не оглядываясь.

— Вот что, вернись к ним и проследи, чтоб не смылись. Они не должны уйти из этого села раньше нас. И на деньги, купи перцовки.

— Ладно... Но мы вернемся в следующую субботу? Это, знаешь, все равно, что Адирину помочь.

Я постарался посмотреть на него без раздражения. Этот здоровенный таежник на моих глазах становился похожим на чувствительного и вольнодумного Адирина, даже в походке как будто появилось какое-то сходство.

— Ты ничего не понял. Здесь нет лагерей. Зэки, как мы, в командировке. Они строят укрепления на границе, значит, за ними глядят в оба. Там офицерья больше, чем собак. Врет твой краснопогонник — ничего он не может, даже если б

хотел. А ты нюни распустил. Все, что он сделает, когда вернется, это — донесет на нас, и если нас поднакроют, то... сам знаешь.

— Но он же...

— Что? Нажрись перцовки на свободе, тоже станешь добрым на час. С тобой всегда так — то убить хочешь, то обнять. Расея. Нам надо задание выполнить, шкуру спасти, ну, если хочешь, и совесть не потерять. Понял? Действуй. Доведи их, если нужно, до белой горячки, они и так недалеко.

Топая к дому одной из солдаток, увидел Соколова, входящего в стоящий на окраине села заброшенный дом. Всегда немного грустно глядеть на зияющие без стекол окна, на покурные выщербленные стены и вдыхать их запах, в котором уже нет ничего человеческого. Соколов держал под мышкой икону.

— Представляешь, сержант, молодуха за червонец уступила.

Соколов стоял у окна, и лучистая пыль, избегая его, падала на лицо святого. Длинноватое лицо его обладало такой строгостью, порой даже свирепой мягкостью...

— Что, сержант, хороша? Говорят, что ты образованней меня, так что давай, скажи.

— Образованность, сука, тут роли не играет. Ты во Владимире был? Она оттуда. Начало прошлого века.

— Ну? Так это гораздо более клево, чем думал. Сколько за нее дадут, как думаешь?

...Глаза были сухие, глубокие. В них было осуждение и грустное прощение. Мне хотелось посидеть с этим старцем хотя бы час, послабеть душой, отдаться силе этой иконы.

Я покрутил головой, постарался отмахнуться от наваждения.

— Дорого, много возьмешь. Был бы со мной мой прежний водитель, он тебе кишки бы вынул.

Быблев, Быблев... Как-то в столовке с год назад наводчик третьего орудия вытащил из-за пазухи крест и стал им, смеясь, размахивать, как кадиллом. Быблев, внезапно, всех удивив, закричал, рвя воздух гневом: "Спрячь крест, сволочь! Не веришь — не носи, падло! Я тебя, блядь, если увижу еще раз с крестом — задавлю!"

Наводчик был уже стариком и был вправе наказать обнаглевшего фазана. Но он испуганно отпрянул и быстрым движением схоронил крестик. Все, сидящие за столом, молчали до окончания принятия пищи. Что-то произошло. И дело было вовсе не в Боге, вере, многие толком не знали, что это все такое. Но в эти минуты, помимо обмундирования, сального и привычного до тоскливой икотки, помимо вонючей еды, кроме вездесущей силы уставов и увиливания от них — мы все стали обладателями неожиданных новых ощущений. К нам подступила вплотную с ее старинными мерилками добровольная и страстная вера в Бога. Не сознавая ее присутствия, тем более не определяя ее ни мыслями, ни словами, ребята, и я вместе с ними, почувствовали себя — они после мне говорили — очищенными от обыкновенной нашей грязи с ее мелкими выгодами. Я после подумал, что все они встали из-за стола не такими, как сели за него. Духовность пришла, казалось — ушла, на деле же осталась незаметно жить в нас, может быть, готовя нас в нужный час к нужным делам. Дежурный офицер сделал вид, что ничего не заметил, он счел инцидент незначительным. Он ошибался. Чудные дела, как любовь, преображают нас, не крича об этом, тихо, без приказа.

— Ты чего?

Соколов смотрел на меня с удивлением. Я сплюнул. К дьяволу Соколова, икону, Бога, Быблева. Нужно было отдохнуть, повеселиться, а завтра отправляться дальше.

— Спрячь свою икону и смени Кропанюка у тягача. Отвечай за все головой — я после проверю каждый патрон. Вечером тебя сменил Мариенко.

Солнце жгло небо синим огнем. Синева опускалась, рябила глаза, горячий воздух шевелил мертвые травы. Марево колыхало деревню, глаза видели шевелившиеся, как от усталости, дома. Я сказал дрыхнувшей дворняжке, что в такую жару не воевать надо, а в море сидеть. Дворняжка открыла глаза, послушала чужой голос и усмехнулась, так, слегка, едва показав клыки.

Женщина меня встретила приветливо и молча дала напиться водой из погреба.

— Палит, а?

Она кивнула головой. Худенькая и миловидная женщина продолжала молчать. Она не была похожа ни на веселую вдову, ни на брошенную бабу, и ни на просто блядь. Она вдруг спросила угловато:

— Ты откуда?

— Из Явропы.

— Нет, я серьезно.

— Ладно, брось. Военная тайна. Мы вас охраняем. Патрулируем вдоль границы. Довольна?

— Так она ведь дальше, граница-то.

— Знаю, у нас тачка забарахлила. Сколько вас здесь?

— Четверо. Все бабы. Я Глаша. Если хотите, можете у нас пожрать, но харчей, предупреждаю, маловато. Сколько вас?

— Двое.

— Это хорошо.

— Почему?

Глаша промолчала, рот-коробочка закрылась. Я ей дал десятку.

— Чего вылупилась? У меня родители богатые. Купи пожрать и выпить. Ну?

Четверо женщин хотели двух солдат. Почему? Может, больные? Но для чего они тогда живут вместе? Гимнастерка на мне медленно остывала, давая телу прохладу, освобождая его от борьбы с этим проклятым дальневосточным летом. Да, этот вечер будет отдан приятной жизни.

"Друг подавал водку в стакане, друг говорил, что это пройдет, друг познакомил с Глашей по пьянке, мол, водка поможет, а Глаша спасет. Но не помогли ни водка, ни Глаша, от водки похмелье, а с Глаши, что взять..."

Кряк стоял в дверях и слушал, посмеиваясь, мой вой.

— Эй, чему радуешься?

— Все в порядке. На нас двоих четыре бабы. Ты такое в жизни имел? То-то. Пользуйся. Да, что в сельпо?

— Готовы. Сказал продавцу — он пришел после твоего уха-да — что ежели их разбудит, то ноги ему вырву. Он поверил. На вот, купил кое-чего.

Водки теперь было навалом, закуски тоже хватало. Мне захотелось бешеного существования до завтрашнего утра — а там, пропади все пропадом. В ответ на свое безумие вышел и пошел проверить все ли с тягачом в порядке. Соколов лежал между гусеницами с автоматом в руках. Несмотря на все-сильную жару, ему было зябко, как это обычно бывает с салагами, впервые вогнавшими патрон в ствол и спустившими предохранитель. Вечная история — нажмешь и понесется твоей рукой смерть.

— Гляди, колхозников не перекончай. Тише будь, спокойней. Скоро сменят.

Он, не понимая, что во мне в эту минуту сержант сильнее Волкова, поглядел на мое лицо с подозрением. Я ему бросил банку сгущенного молока:

— На, потерпи, мало уже осталось.

Только вернувшись в дом, вновь ощутил к шестерке парт-орга прежнюю недоброжелательность.

Пришли бабы. Мужская походка одной из них сразу бросилась в глаза. Она была коренастой. Крепкие скулы двигали папиросу из одного угла рта в другой. Рубашка ладно прижимала плоскую грудь. Именно естественность неестественного и поражала сразу воображение. Рукопожатие ее было крепким, тряским.

— Екатеринбург я.

Затем она подошла к Глаше и опустила не без властности ей руку на плечо. Глаша ее погладила. Все было ясно. Нас было двое и женщин было только две. Вот что хотела сказать Глаша.

После второй бутылки Екатеринбург, увидев, что мы с Крякиным исключительно занимаемся Валей и Клавой, милостивыми существами, лица и тела которых обычно приносят короткое удовольствие и не запоминаются, стала более дружелюбной.

Я подмигнул Крякину. Тот не понял. Я дал ему знак выйти.

— Ты что, вчера родился?

— Что такое, чего тебе? Клаву хочешь? Бери, не жалко. Мне, знаешь...

— Козел ты. Ты почему к Глаше этой не полез?

— Кости выпирают.

— Дурак, она с Екатериной своей живет, вернее, та с ней. Чего вытарачился? Лесбиянки они.

—Что?

— Ну, живут они вместе и все такое, только дети не рождаются. Теперь понял?

Мой заряжающий вытарачился:

— Я слышал, что такое бывает, но думал, понимаешь, выдумка все это. Брехня в общем. Ты уверен?

— Еще как! По закону, кстати, пятерик за это дают.

—Ну??

— Не лезь к Глаше. Лесбиянки — звери. Екатерина может тебя зарезать в один прием. Они психи, понял?

Нужно мне было оказаться на краю земли, чтобы такое увидеть. Опьянев, Екатеринбург и Глаша перестали стесняться. Кряк Глядел на них с детским страхом. Его заколдовывали происходящие перед глазами метаморфозы. Екатеринбург с каждым стаканом все более превращалась в мужчину. Что-то хрупкое в выражении лица, повороте головы задержалось на мгновение и исчезло.

— Чего вылупился? Коммунист, что ли?

Крякин растерялся, погладил огромной рукой прижимающуюся к нему Клаву, словно хотел убедиться в существовании женщин на земле:

— Нет, откуда ты взяла?

— Ниоткуда, просто подумала, что ты, может, сволочь? Все вы сволочи, жить не даете. Все смотрите. Идите вы на...!

Через час рука Екатеринбург сползла с Глашиной груди. Он-она пробормотал что-то о пустыне и о песках. Затем тело грузно рухнуло на пол. Поблевав, Екатеринбург уснул, раскинув ноги

в сапогах. Кряк ушел на печку с Клавой. Глаша с грустью глядела на Екатерину, пока лампочка над головой, померцав, не потухла. Валя дернула меня за рукав:

— Пойдем, что ли? Слышь, солдат?

Я спросил сквозь темноту у Глаши:

— Давно вы вместе?

— Дав-н-н-о. Без нее я, может, до срока бы не дотянула. Она все время меня в лагере берегла. Вышла она раньше меня и чуть не у ворот ждала, ситное передавала, и грозила, все грозила мне... Я теперь в город хочу, жить, а Екатерина вот здесь держит, в пустыню какую мечтает меня завести, где совсем людей нет. Дико тут, а я чулки, капрон хочу. Кончу я ее... или себя.

Было слышно, как Глаша сползала со стула на пол, как ложилась на спину Екатерину, как засыпала.

Ложась с Валею на широкую лавку под окном хаты, подумал, что быть в этом доме трагедии. "Эх, люди".

Валею я остался доволен, она была страстной и старалась быть ласковой. Под утро меня разбудил хмурый Кряк:

— Пойдем, тут психи живут. Ну их, потом не отмоешься.

Так вот созданы люди. С голодухи набрасываются и впитывают в себя доброту, о ней не думая. Куда там — потом плюнут в добрую душу за то, что не смогла больше дать. Я сам, только выйдя из хаты, только проглявшись по засыхающей росе, вспомнил, что ушел, не оглянувшись на спящую Валею, еще одну Валею в моем существовании, на этот раз лагерницу, бытовичку, растратчицу. Ночью она плакала, что теперь нигде ее не пропишут, что в лагере ей насильно наколки сделали и истерически отказывалась их показать. Поплавав, попросила тихо, не мутя тишину и темноту, три рубля. Пообещал. Не дал.

— Черт, нигде здесь радости нет. Как на живом кладбище. Подумаешь, везде можно остаться человеком... или почти, а? Что, разве не так?

Крякин рубанул рукой воздух, лицо его погрубело так, что мне сильно захотелось спросить его в эту минуту, он или не он отправил на тот свет лейтенанта Крошо.

— Не говори. Вишь, что с людьми сделали. Даже нормально... перестали.

— Я, Кряк, не об этом.

— Знаю, но все же... Э, смотри, — никак кто ползет?

Из одного дома выходил неряшливый, сонный Соколов.

— Зря ты к нему по-человечески относишься. Сука он.

Я промолчал. Соколов мне нужен был целым и невредимым. Только так, повторял я себе, смогу свести старые счета с парторгом. Но никто, даже Кряк не должен был об этом знать. В заброшенную хату мы вошли раньше Соколова. Около печки стоял и готовил завтрак Кропанюк. Я увидел из-за открытой заслонки горевшую половину иконы. Позади раздался всхлип, переходящий в рев. Соколов бросился, выхватил из огня то, что осталось от святого человека. Обжегся, выронил половинку иконы и бросился на оторопевшего Кропанюка.

От святого человека остались на полу глаз да остатки обуглившейся одежды. Огонь коснулся и глаза. Краска вспучилась. Глаз смотрел теперь на меня со странной радостью, будто хотел своей или моей смерти... Может быть, он так радовался оттого, что нас прощал. Это ведь тоже удивительно — прощение, да еще в страдании. А может, этот глаз был таким и раньше? Нужно было б показать его тем девкам.

Только тут я обратил внимание на драку между Соколовым и Кропанюком. У штабной крысы и шанса не было победить коренастого украинца, и он пока еще стоял на ногах с разбитым ртом только потому, что Кропанюк никак не мог понять в чем дело — и бил поэтому слабо и нерешительно.

Капли крови на полу и глаз святого человека били по воображению не совсем понятным, но осязаемым единением.

— Хватит! Прекратить! Приказываю прекратить!

Только услышав слово "приказываю", их тела повиновались. Руки застыли в воздухе.

— Ты, штабной, заткнись и топай к тягачу. Знаешь, что бывает за спекуляцию иконами! Все! Через двадцать минут трогаемся.

(Окончание в следующем номере)



Лев НАВРОЗОВ

ВОСПИТАНИЕ ЛЕВЫ НАВРОЗОВА

Запад, Запад, — роняет слова мой гость, закинув руку крылом ангела за спинку садовой скамьи.

Давай ронять слова

— Я был на Западе, — произносит он уже почти в изнеможении. — Я говорил с Эзрой Паундом.

Впрочем, на слове "говорил" он делает некоторое ударение, словно это обстоятельство могут опустить из виду.

— Я был на Западе, — повторяет он, ударяя уже каждое слово, но особенно слово "был" с такой силой, как будто никто не может осознать или понять сам факт того, что он был на Западе.

— Я был на Западе. Я говорил с Эзрой Паундом. Я обедал с Сартром.

Он снова откидывается, чтобы ронять слова:

— Да ничего особенного. Вы преувеличиваете.

Давай ронять слова

— Люди всегда недовольны, — роняет он снова слова, хотя и растягивая их, раскачивая, нараспев.

У него больная печень, о чем известно всей Москве. "Я — Прометей, — говорит он. — Трагический смысл жизни человечества — это борьба за сохранность моей печени".

Его печень помогла ему также в свое время отшучиваться от инакомыслящих, желавших, чтобы он подписал их письма. "Ребята, я не могу бросить вызов атомной сверхдержаве потому, что у меня больная печень. Мы будем сражаться в неравных условиях". Или: "Ребята, Ницше был неправ, говоря, что для того, чтобы быть героем, надо иметь героический желудок. Во-первых, не желудок, а печень, а, во-вторых, он не знал наших тюрем".

— Люди всегда недовольны, — громко растягивает-раскачивает он слова, когда мы уже в доме, большая комната, это как собор, даже некоторая гулкость.

— Люди всегда недовольны, — раскачивает-раскатывает он слова под своды собора. — Не здесь, а там, не теперь, а потом начнут они жить.

И словно вспоминая свое собственное дорогое прошлое:

— Какая жизнь была в России в году этак четырнадцатом! "Еще в четырнадцатом, Нина, ты хрупкой девочкой была". Помните, откуда?

— Нет.

— Берман, "Новая Троя". Какая жизнь была в России, когда эта Нина хрупкой девочкой была! Новая Троя. Какая свобода.

Он начинает горячиться:

— Слушайте: "Правда" продавалась в киосках. Газета, призывающая к насильственному ниспровержению существующего строя, продается в киосках. Две копейки. Нет, все недовольны. "Мы дети страшных лет России". Ах так? Ну так теперь будут счастливые годы России. И все стали счастливы. Помните? Старик. Угла нет своего. Но с лыжами.

Он закрывает рукой глаза, изображая ужас, шепчет, как трагический актер:

— Старик с лыжами.

Затем, мешая сарказм, удивление и почти зависть:

— И поет. Молод, здоров и красив. Как ветка цветущей яблони на соевых конфетах. Фабрика "Рот Фронт". Смерть от счастья на лыжах.

И опять вздымая-бросая каждое слово под своды собора:

— Теперь все опять недовольны.

Потом доверительно:

— Мне надоело.

И как "Не позвалям" в польском сейме:

— Мне надоело.

И, наконец, как самодур, с таким вызовом, хамским, бешеным, на высокой гудящей ноте туго закрученной пружины:

— Мне на-до-е-ло.

И спокойно, как продуманное заявление:

— Я счастлив здесь и теперь. У меня свобода мысли, свобода экстаза, свобода приобретения бумаги, ручки...

— Я сам не могу привыкнуть, — говорю я. — Какая божественная свобода. Вернее, целый каскад божественных свобод. Можно купить бумагу и, знаете, лучше старую обыкновенную ручку и чернила, чтобы так, немножко брызгала, и сидишь и пишешь и плачешь и пишешь...

— Вы плачете, когда пишете?

У него очень доброе лицо, умильно благожелательное любопытство, как у ребенка, спрашивающего у мамы, любит ли она пирожные:

— Вы плачете, когда пишете?

— Непременно. Умываюсь слезами. Но когда рыдаю, то унимаю себя. Как говорят психиатры, контролирую. И не все время. Потом проходит. Тогда хорошо править. Умыт слезами, и править.

— А смеетесь?

— Да, но это похоже на плач. Как бы бесслезный плач.

— Вот видите. На Западе этого с вами не будет.

Я молчу потому, что я знаю, что он скажет с ударением на каждом слове, но особенно на слове "был":

— Я был на Западе. Я говорил с Эзрой Паундом. Я обедал с Сартром.

— У нас есть и свобода говорить, так сказать, частным образом в тиши наших частных жилищ, — продолжаю я список божественных свобод и как бы отдавая должное приятности наших с ним бесед.

Тут он, видимо, не согласен и молчит. У меня бывают иностранцы. А еще хуже — инакомыслящие. Издали — мотыльки, сражающиеся с пожаром путем опаливания своих крылышек, а изблизи — его на шесть лет, а она, красавица, ведь это, значит, заживо ее на шесть лет, лучшие годы.

— Давайте выйдем в сад, — начинает он опять ронять слова. — Я знаю, для чего надо жить: для прекрасного цвета лица.

Но мы не трогаемся, и тогда он говорит как бы Богу, или миру, или с расчетом на образованных, понимающих, может быть, даже сочувствующих там — представляется, как с задумчивым видом один из них будет прослушивать пленку, и потом остановит и скажет: "Остальное, когда приду из отпуска".

— Господи, — выдыхает он три слога тысячелетнего обращения в славянском звательном падеже: хос-по-ди, и я вспоминаю, что отец его был истово православным, и хотя играет он прекрасно, трудно сказать, где кончается ирония сына и начинается истовость отца. — Господи, да как же мне благодарить Тебя за то, что Ты их просветил до такой невозможной степени, что мне, пылинке живого ничтожнейшей, даруют они не только жизнь, но и драгоценнейшие, дерзкие, незаслуженные вольности, о которых мне и помыслить боязно. Я, червячок, невидимый микроб, бактерия, в сравнении с их вселенской властью, могу вольнодумства свои запечатлевать на бумаге для прочтения своего или для потомства. Собственная бумага. Частная ручка. Чудо-то, чудо какое, Господи. За что? Что же я, червячок микроскопический, росточек бактериальный, совершил, чтобы заслужить такие богоподобные вольности? Значит, не совсем уж я весь мерзок, есть и во мне проблеск, видимый только Тебе, Господи, и Ты воздаешь за него сторицей.

Потом он спрашивает с испугом, будет ли у меня кто сегодня :

— Люди — чудовища.

Словно впервые в ужасе увидев людей:

— Чу-до-ви-ща.

И в виде скромного примечания:

— Я тоже, конечно, чудовище, но сам себя я, по крайней мере, могу выносить.

Новости для него плохие. Даже не знаю, как ему сказать. Заедет проездом она. Да, его жена. Это как бы честь для нас, светское событие. Он моложе моего гостя, мальчишка, но в последние годы обошел его на десять званий. Как бы из капитанов вдруг вылез в маршалы литературы, в то время, как мой гость остался все тем же подполковником.

— Я знаю, что он образовал у меня в голове вроде опухоли, — говорит мой гость с тем редким даром острой искренности, благодаря которой он становится для меня не только выносимым, но и приятным, умным, интересным. — Я как чиновник в министерстве путей сообщения, который может говорить только о том, как его в его отделе обошли, назначив вместо него мальчишку. А никому это неинтересно. "Обида", — взывает он к небесам, как Прометей у Эсхила в переводе Мережковского. А небесам тоже неинтересно, потому что небеса даже не относятся к министерству путей сообщения, не говоря уж о данном отделе, и где им поэтому понять всю низость этого мальчишки?

Глава 2

В отличие от моего гостя, я-то знаю, что он лучше меня, Боже мой, ну если это не доброта, то такт, если хотите, ведь он был тогда на самом гребне успеха, как говорят, в зените мировой славы, а позвонил, хотя я ведь никто, если разобраться, никто, и когда я говорю: "Я даже не член профсоюза", то это, конечно, *mot*, но ведь все это так и есть, и когда я рассказывал, что и сплю у той самой батареи, у ко-

торой спал в детстве во время болезни потому, что там не дуэт, то это как рассказ о ночлежке, потому что никто больше — из людей приличных — уже не жил в коммунальной квартире, но ведь все это так и было. Что же за сатанинская гордость, ведь не какие-то там литературные нувориши, а сама Ахматова недавно приезжала, вы разве не встретились на Масловке, тоже теперь живет в новой квартире, а я, видите ли, брезгаю, подумайте какой, живет в доме застройки четырнадцатого года, когда сама Ахматова...

У него квартира с мраморным вестибюлем. Но при этом талантлив. Талантлив — и вот вам успех. А вы говорите. Он может как бы опереться на нечто непреходящее, как мрамор. Я же могу опереться в своем тщеславии только на воспоминания. Однажды он заметил: "Все, что я написал, не стоит того, что вы сейчас сказали". Я это, разумеется, запомнил, как нищий запоминает на всю жизнь щедрое подаяние. Но, во-первых, я мог сам все это выдумать, приукрасить, преувеличить. Где же вещественные доказательства, где мрамор? И он мог сказать это под влиянием минуты, показалось ему, душевная щедрость, а то и такт, если хотите, именно такт.

Я виню общество. Меня не печатают. Но какой же неудачник не винит общество?

Правда, я не поменялся бы с ним местами. Я брезглив потому, что я, как говорят, из интеллигентной семьи, и я не буду есть, если мне плюнули в тарелку или во всяком случае, удовольствие будет для меня отравлено, хотя ведь это же пустяк: слюна здорового человека даже полезна, птиалин, и обращать на это внимание, — барская привередливость. И, конечно, все это только самовнушение. Ведь уж не говоря о том, что с чем только не сравнивалась слюна возлюбленной, с миррой, и медом, и вином, я помню, что в военной тюрьме я нарочно взял как бы нечаянно ложку Фролова, с которым мы ели из одного котелка потому, что Фролов был народ, он не прочел ни одной книги, и мы были товарищи, он перед сном поднимался на нарах в своем углу, чтобы посмотреть, что я не потерялся: "Еврейчик здесь?"

И сладостно было есть ложкой Фролова, он все боялся, что съест больше меня, мы всегда спорили из-за последнего куска, ни я, ни он не хотели его есть: "Кончай, Фролов, не дури", хотя он голодал годами, а для меня все это было трехнедельное приключение, и когда я узнал, что он одноклассник со мной, я обомлел, потому что он выглядел на двадцать лет меня старше — старее, и я думаю, я только жить начать собираюсь, а он, наверно, уже умер, умер он, заездили они тебя, товарищ мой, Фролов, товарищ Фролов, хотя что мне жалеть его: как говорят, всех ему жалко, только родителей своих не жалко.

Самовнушение, но я-то знаю себя. Меня приглашают и важным гостям говорят: "Увидите, что это будет". Но я прихожу, и что-нибудь не так, пустяк, и я в течение трех часов не могу выдать из себя ни слова. Это тоже с детства. Лад внутри разладился из-за пустяка, настроение расстроилось, завод у игрушки сломался, маниакально-депрессивный психоз пошел в депрессивную фазу.

А он /не Фролов, а о н/ из крестьянской семьи. Для него разница между его положением и положением Чехова — это барская привередливость. Когда ему плюют в тарелку, поколения его предков голоса в нем: "Жри, коли дорвался, чего там, плюнули, жри, дурак, такое бывает раз в тыщу лет".

И все же, успех — это успех. Он с женой только что из Португалии. Так тогда говорили. Когда я подходил к ним, я подумал: вместе они, как залетевшая в Москву огромная радужная бабочка. Харизма. Бабочка успеха. Наверно, португальская. А на мне под пиджаком лиловая рубашка, которую носил дядя лет сорок назад, но дядя погиб /вы понимаете/, и рубашку подарили мне потому, что комиссионные ее не принимали, поскольку она по неизвестным мне причинам сзади похожа на карту с темно-лиловым материком, который кончается мысом у ворота, и светло-лиловыми морями, заливами и бухтами. Кроме того, одну из запонок я потерял, и светло-лиловую манжету я незаметно придерживал.

Но когда я еще подходил, я знал, что это во мне начинается. Все уже было к месту, все в лад, я вступал в огненную лаву, где меня не было и я был все.

Но что было первым созвучием, завязью, завязкой? То, что он сказал "Салазар в своем дневнике..."?

Или ее чулки? Когда я наклонился, чтобы поцеловать у нее руку /деклассированный барин/, я видел их, как городской пейзаж с моста, а ступни ее ног были двуречьем, и устья пальчиков просвечивали сквозь тонкий черный ажур, вот уж, действительно, черное солнце или тот французский пейзаж /городские линии передач, галки в безлистных деревьях/, и никто еще в Москве, конечно, не носит.

Харизма, радужная сказка-бабочка, так вот ты какая, недаром гоняются за тобой, на тебе нетронутая нездешняя пыльца, и ты хлопаешь крыльями так невинно: хлоп-хлоп.

Но так или иначе, я уже не помнил себя: я был как долго просидевший взаперти, который временно сходит с ума, открыв форточку: я знал все, что скажу, словно время было все вперед мое, я видел его наглядно, и все, что я говорил, являлось как невозможность, как нелепость, как неслыханная вода реки детства, когдаходишь, погружаешься, бросаешься, и это то, и совсем не то, и было, и никогда не было, и что же это такое?

Он сказал: "Боже мой, как ты растрачиваешь себя".

Потом, вспоминая, я думал, что вот это и было самое удобное время, чтобы вернуть в таком духе, что, дескать, поневоле растрачиваю, меня же не печатают. А он все может. Ему стоит только слово сказать. Не все можно печатать. Все никак нельзя, но книжку можно собрать, она уже собрана, и редактор даже есть, удивительная, самородок, черт знает откуда, из Тамбова, абсолютный слух, и подвижница, говорит, ее после книжки выгонят, но она готова, а книжка пройдет, и надо только нажать, буквально стоит только слово ему сказать.

Но я был вне себя. "Растрачиваю? Говоря с вами, любимыми, я растрачиваю себя, а если бы то, что я говорю, было бы размножено в виде мертвых знаков с помощью черной краски на керосине для незнакомых, чужих, посторонних, то я бы не растрачивал себя? Душа? Помните в войну Тишинский рынок? Ах, вас еще не было. Неважно, Тишинский

рынок, лисья шуба, как тогда говорили, из бывших, а, впрочем, многие продавали все, что можно. Покупали хлеб, его не вешали, а делили пополам и еще пополам. Лисья шуба, он стоял, держа мраморную желтоватую пудреницу. Мамы? Жены? Дочери? Продавал прошлое по кускам, чтобы жить. Желтоватую пудреницу. Вот это была душа. Она ведь была бесценной, но он отдавал ее, вечность, дороже всех сокровищ, за четверть кирпичика хлеба. А мне зачем? Мне разбить свою душу-пудреничку на кусочки — вам какой кусочек? Я все раздам, меня не останется, куски души, размноженные /пахнувшие керосином/ пойдут по чужим рукам, они будут делать с моей душой, что захотят. Я разденусь не до гола, а до души. А когда до души, то это ведь ни на что не похоже. Куда смешнее и беззащитней голого. У них же ботинки меховые, пальто самые лучшие, те, что носят там, а поверх, краской самого душевного цвета, душа, самая лучшая, еще лучше, чем носят там. А меня достаточно ботинком таким с мехом, со смехом, с мехом. Вот счастье, что душа моя будет уже чужой, пахнувшей керосином, и еще, что все проходит, как толпа по упавшему. А литературные дамы? Да они не дадут мне даже пудреничку, душу мою, продать, они вырвут ее у меня и начнут гонять по коридору, а она с крышечкой, крышечка сразу же отлетит, и потом не найдешь. Я растрчиваю себя? Да этот миг и есть вся слава мира, только он предвечен, только он, как пели в старых романах, бескрайнее счастье".

Как это бывает с неудачниками, я возмещал себя за годы унижений, я упивался своей мгновенной славой, и я сам верил, что, как говорится, предложи он мне все сокровища мира, я бы рассмеялся бессмысленно, как ребенок. Подумать, что полчаса назад меня смущала потеря запонки. Теперь я махал расстегнутой светло-лиловой манжетой, это был предлог, новый ход мысли, первая скрипка. Да ведь это рубашка дяди, который погиб, вы понимаете, в этой рубашке он Рапальский договор подписывал, да рубашка уж не оттуда ли, поэтому и материк сзади с мысом у ворота — хотя ведь не отдавали же они рубашек, но так или иначе, я в лиловой ри-

зе времени, граждане, ризы времени с незамытыми темно-лиловыми пятнами на комиссию не принимают, одевайте их и идите гулять по Москве, да ведь это никаким Шекспирам не снилось.

Все было к месту, все вязалось, все горело ясно и не гасло. И вдруг намекнуть, что меня, мол, не печатают, а ему стоит только слово сказать... Это было невозможно, человеку невозможно.

Глава 3

— Зачем вы хотите уехать на Запад, — спрашивает, сидя у нас за столом /светское событие/, его жена, как дети спрашивают, зачем вам нужны деньги, считая, что весь вопрос лишь в том, чтобы решить, зачем они нужны.

В прошлом году его не пригласили на Новый год в Кремль. Посторонним это непонятно, но для них это был удар. Я помню, она тогда пила рюмку за рюмкой, и когда ее хотели остановить, она сказала, глядя на меня: "Я напьюсь и развяжусь на вас".

Потом она спросила: "Почему нас всех не посадят в один лагерь? Что им стоит?" Лицо у нее все разъехалось, как у плачущего ребенка. "Я знаю, они нас разделят". На слове "разделят" она уже рыдала, и не могла говорить дальше: "Я знаю... Что им стоит... Мы были бы... все вместе... Что мы им сделаем... если все вместе?"

Все бросились ее утешать. Да ведь она же хотела уехать в маленький город и работать там медсестрой. Она даже заказала модельерше медицинский халат и косынку, отчасти по заграничным образцам, а больше полагаясь на свой вкус, и вышло прелесть.

Все ее любят за то, что она нищему дает десять рублей и говорит, чтоб приходил завтра потому, что в доме одни сертификаты, за детскость, за пьяные слезы. Все, кроме моего гостя, конечно. Он сидит, как Прометей, который не может воздевать руки к небесам, как у Эсхила, и потому само лицо его наливается желчью: Прометей, играющий свою печень.

— Я знаю, — говорит он мне потом. — Разве я сам не хотел бы? Гвоздика в петлице, и я этакое такое легкое и остроумное о ее муже, и все в восторге. Но я же вам сказал, у меня в голове опухоль.

Грубо отвернувшись от нее, он говорит мне с женой, вбивая каждое слово:

— Я был на Западе. Я говорил с Эзрой Паундом. Я обедал с Сартром.

Но в этом году на Новый год в Кремль его пригласили, окна у нас — литургия солнца, на столе ее любимые баранки, и она спрашивает меня, зачем я хочу уехать на Запад. Я знаю, что не могу рассчитывать на ее внимание больше, чем на десять секунд, и поэтому я быстро отвечаю:

— Я хочу, чтобы меня похоронили в металлическом гробу.

Ответ очень удачен: она хохочет.

— В Мексике, — начинает она рассказывать своим сильным густым меццо-сопрано нечто, действительно, по ее мнению, интересное, — нам не заказали номер в отеле.

— Почему? — спрашивает моя жена, как индийское пение на два регистра, с почти детской, срывающейся, нежной звонкостью в верхнем ключе, и низким, как стон, контральто в нижнем.

— Черт их знает. Какая-то вышла путаница. Нам пришлось снять номер напротив похоронного бюро, и они весь день таскали металлические гробы.

Она хохочет, и опять лицо у нее разъезжается, но только теперь от смеха, и похожа она, действительно, на картинную купчиху, особенно оттого, что она взяла баранку и промурлыкала сквозь смех жене: "Ты тоже любишь маковые?":

— Целый день таскали. Так нам надоели.

Глава 18

— Ты пойдешь в детский сад! — голос мамы, еврейский фальцет для посторонних, поет в моей памяти пылающим беспламенно небесным сопранино. — Ты пойдешь в детский сад!

Во взрослом саду растут ромашки или даже ромахи, а в детском — детские ромашки — маргаритки, которые я раз видел, страшно, или как Поля говорит, страстно красивые, и во взрослом саду нельзя эти страшно-страстно красивые маргаритки рвать, а в детском саду, наверно, можно. В детском саду маргаритки растут целыми лугами, как ромашки.

Давным-давно, в прошлом году, мне было пять лет, и я даже плохо помню, потому что только в шесть лет приходит зрелость, взрослость, и Поля укоряет меня, когда я палкой провожу по забору, за которым внизу ходит настоящий поезд: "Ты уже ведь не маленький". Еще бы, в шесть-то лет, а в следующем году мне вообще будет семь, не совсем еще старость, но близко, а пять лет — это детство, прошлый год, прежняя жизнь, и я только помню, что мама сказала: "Переедем через реку на лодке и, увидишь, там целый луг ромашек". Я не видел до этого никогда ни реки, ни луга, хотя луг я себе ясно представлял. Поля приносит глаженное белье и укладывает на кресло в стопку, так что на самом верху получается луг, лужок, лужайка, и я хочу забраться на него, но Поля безгласно голосит, страдает: "Ведь глаженное!" Я думал, что целый луг ромашек — это охалка ромашек как бы на стопке глаженного белья на кресле. А реку я вообразить себе не мог. Мы шли, и я спрашивал, где же река.

И я увидел.

— Да вон она, вон она, — показывала мама.

Чудо росло, являлось, становилось явью.

— Мы возьмем лодку и переедем, — сказала мама.

Все на свете, значит, возможно. И чудо, река, оказалось явью. Но не говорите же мне — в мои-то пять лет, не шесть мне, правда, тогда было, а пять, но все равно, — что через это чудо, через явь эту, можно еще и переехать. Ну было бы еще понятно, если б мама сказала: "Перелетим — сейчас вырастут у нас крылья, как у ангелов на нининой открытке, и мы перелетим ее, яви этой не касаясь". Но через нее переехать? Через эту живность чешуекрылую, через глазища

эти, через текущие, ползущие, темные небеса эти ехать? Не идти, а ехать?

Ехал грека через реку

Но ведь это Поля так говорит. Она все папу спрашивает: "Андрей Петрович, откуда вы знаете, что Бога нет?" Этот ведь грека как Бог, все это Поля говорит, а греки нет на самом деле, это просто Полю вор в деревне испугал и она все спрашивает папу: "Андрей Петрович, откуда вы знаете, что Бога нет?", и не может грека через реку ехать, и сама Поля, когда про грека говорит, грешит испуганной вором улыбкой.

Я через реку ехать грекой отказался. Еще через что ехать? Через какие еще чудеса? И никогда не поверю. "Да это же вода, как из-под крана", — уговаривала мама. "Ты можешь рукой потрогать". Они с лодочником меня уговорили, и если бы мама сказала: "Мы поедем через солнце", то она бы меня уговорила потому, что мы умрем вместе, не может же она умереть, а я буду жить, я все это подсчитываю с тех пор, как научился считать, и всегда выходит, что мы умрем вместе, и папа умрет тоже с нами, и мы начали ехать грекой через реку. Как? Само вышло. Ну, как летаешь во сне — само летается. Так заскользилось грекой в этой лодке. Гладь называется. Лоно вод. И по глади, по лону вод, грекой заскользили и страшно, и страстно, и прекрасно, и так скользили, так скользили, и я не стал пробовать рукой, что это такое, уж какое там, и так доскользили мы до конца, до того конца, до того края, до того берега, и мы были на лугу, и луг этот был не охапка ромашек, а весь мир в ромашках, и я хотел сорвать охапку, и упал в ромашки, в луг, в беспамятство.

А в детском саду будет целый луг маргариток, я их даже как следует никогда и не видел, потому что не хватает духу, так страшно-страстно красивы, и неужели можно будет их рвать?

Глава 19

Я ощутил на мгновение ужас содеянного, когда увидел крашеную масляной краской, вызывающую головную боль, голубую стену. Вот что такое детский сад. Но я не сказал: "Позвольте, это какое-то недоразумение. Мне же было ясно сказано: сад, притом, детский". У человека, бесповоротно оказавшегося в иной жизни, уже нет времени и сил заниматься разбором того, какова должна быть эта жизнь. Он уже в ней. Это — жизнь. Другой нет. А прошлое — сон. Крашеная масляной краской стена называется садом, притом детским, на языке этой жизни. И все.

Мать и отца не пожалел ради красного словца, я променял их на дикое название крашеной масляной краской стены, я продался в чужую жизнь за словесную фальшивую монету.

И как монета эта только в ход пошла, кто отчеканил ее, фальшивомонетчик кто?

Клара Цеткин некогда писала: "детский садок", то есть, как устричный садок, где выращивают устриц, поскольку Клара, как и Карл, у которого она украдала кларнет, считали, что детей следует выращивать, как устриц. А учительша Надежда Константиновна переводила на русский язык слово "садок" как "сад". Не сравнивали вы никогда "В лесу родилась елочка" и "Ди танненбаум, ди танненбаум"? "В лесу родилась елочка" — убогая, заунывная, замогильная, как рохла Надежда Константиновна, а "Ди танненбаум" — маршем шагай детьми из садка вокруг елки под украденный Klarой у Карла кларнет, или флейту, лучше, конечно, флейту.

Когда нас доставили в детский садок /бесполезно говорить, где он был, потому что за все время пребывания в садке, я не запомнил ни одной былинки травы, ни одного росточка мха/, постельное белье наше, однако, не прибыло, и на ночь нам раздали вместо него по два листа цветной настольной бумаги.

Вечером мама всегда вытряхивала мне простыню потому, что если ешь в постели — во время болезни, например, — то

могут быть крошки, и одна крошка может испортить все блаженство засыпания, когда свернешься, и пододеяльник так сладко-сладко под подбородком. Когда мама была на дежурстве, а это значило, что вечером она не придет совсем, — не поздно придет, а вообще не придет, и я буду уже спать, а она все еще не придет, то простыню вытряхнуть должен был папа, но он сказал: "Какие крошки? Я рукой стряхну". Я втайне ужаснулся. И, конечно, он не стряхнул. Да разве можно крошки вот так просто рукой стряхнуть? Непонимание самих основ бытия. Я не говорю, что папа ни на что не годится. Наоборот, в некоторых случаях он незаменим. Когда я мылся на кухне перед сном и думал о том, что я буду уже спать, а мама все еще не придет, что я ее вообще не увижу до сна, и как это пережить, папа плеснул в меня водой, я плеснул в него, и вскоре мы носились по кухне, опрокидывая друг на друга воду, которую соседи запасли назавтра на своих столах в ведрах, тазах и кастрюлях на случай, если вода не пойдет, и папа прикрыл кран пальцем, обороняясь против меня водяным зонтом.

Как мама бы кричала, если бы она была дома. Она бы нам все испортила. Мой папа русский, а мама еврейка, да придет Царствие Твое. Христианин думает о том, как взять деньги, еврей — о том, как отдать их. Мама думает о том, что будет потом, а папа не думает потому, что потом будет суп с котом, и с папой так весело, так легко лететь, как листья, и умирать не больно, всем вместе, мы умрем все вместе, так легко и не больно, но без мамы я бы погиб, так сам папа говорит, а папа бы погиб еще от тифа в Ташкенте, он полз и не мог доползти до стакана молока, а мама приехала и купила на рынке аппарат для переливания крови, и тут папа замолкает, чтобы все прислушались, и говорит: "А аппарат она потом этой же ташкентской больнице продала", и все смеются.

Вот почему я хочу умереть вместе с мамой, я все это рассчитал, когда научился считать, и, конечно, пусть папа умрет тоже с нами, даже обязательно, но без мамы я не могу и до своего сна прожить, а папа даже не понимает, что рукой нельзя крошки с простыни стряхнуть.

И вот нет ни мамы, ни папы, ни крошек, ни простыни. То был сон. А в жизни спят между двумя листами цветной настольной бумаги.

Но также никто не знает, почему день был шершавым краем ненастья, а потом вдруг солнце. Мошки этого во всяком случае не знают, а просто вьются: солнце, солнце.

Но подождите, о солнце дальше, а пока о жабе и галке.

Утром надо было вырезать вишенки, напечатанные на одной стороне, и наклеивать их на другую сторону тетради-книжки.

Но крахмальный клейстер не варили каждый день заново, а добавляли воды в старый. От этого вишенки отклеивались.

На следующий день она просматривала тетради-книжки, мы стояли к ней в очереди и шептали последнюю молитву о том, чтобы вишенки не отклеились.

Она проверяла наклеивание вишенки, желая, чтобы мы научились хорошо клеить, потому что в жизни это пригодится.

Она также читала нам о жабе, и когда она прочла о том, как жаба высовывает язык, чтобы поймать мошку, она сама высунула язык, чтобы чтение было доходчивым. Цепенея, мы рассматривали ее язык: бесконечные пупырышки, уходящую в жуткую пропасть борозду посередине.

Я понял все это буквально: она и есть та самая жаба.

Хотя, чем же она виновата? Позвольте, какая жаба? Что же я такое говорю? Есть в вашем детском саду книга посетителей? Я хочу записать благодарность этой воспитательнице. Ведь я же был для нее чужой ребенок, а есть ли что-нибудь более неприятное, чем множество чужих детей этого возраста? И она возилась со мной, еврейским заморышем, как называл меня папа. Я запишу в вашей книге посетителей, что я называю ее Жабой в чисто сказочном смысле. Что же я хочу, в самом деле, — чтоб она была мировой кинозвездой текущего сезона?

А может быть, она была мировая кинозвезда — Дина Дурбин, помните? И просто заколдована в жабу. Мой дядя — не тот, рубашку которого я потом носил, а другой, — прямо чуть не погиб как рыцарь во имя этой Дины Дурбин. Он ска-

зал, что таких киноактрис у нас нет, и ему дали три года — все тогда удивлялись: "Подумайте, только три года, а ведь он еще и в шахматы с троцкистом играл". Что касается детских садов, то тут затруднение: Дина Дурбин не будет работать в детском саду, если она не заколдована в жабу.

А потом, где же уверенность, что Дина Дурбин понравилась бы хоть одному из нас? Шестилетнему, может быть, оттого, что я был заморыш, мне нравились царственные плечи, когда угадывается мощное дерево кровеносных сосудов, и чтоб были косы, не обязательно толстые, но чтоб пушистые кисточки-завитки на конце.

Сказочная жаба, во много раз больше нас, мошек, берет у меня тетрадку-книжку.

Если научно рассматривать происходящее, то вишенки держатся на основании законов трения, коль скоро она взяла тетрадку-книжку осторожно и без сильного наклона. Но чем резче она дергает и наклон больше, тем больше вишенки сыпятся.

Тем громаднее ее остроумие.

— И-и-и, — говорит она, — посыпался горох.

Когда она говорила это и-и-и, изображавшее падение вишенки, а затем: па-а-а, и потом: сы-пался горох, то если бы мы могли смотреть на происходящее более спокойно, то, наверно, сказали бы так: как жаль, что такое громадное остроумие растрачивается на столь ничтожных мошек.

Нас было, неприкаянных душ, несколько. Нам было все безразлично: маргаритки или жаба.

Мы, неприкаянные души, подходили, а точнее, подплывали друг к другу, одни глаза, кроме глаз ничего, потому что мы глаза к глазам, очень близко, как взрослые никогда не делают, только что разве самые близкие, и даже не в глаза друг другу мы смотрели, а просто в глаз, потому что ведь глаза кажутся одним глазом, и мы ничего не говорили, о чем же говорить, мы просто смотрелись друг в друга, тоска в тоску, и тоска была цвета старых семейных фотографий, и в ней дрожали тончайшие табачные и дымчатые нити.

Иногда я односложно ободрял ту, другую тоску, потому что она была мной, но только там, а она ободряла меня.

Наша тоска — как сказал бы врач, — резко обострялась — с наступлением первых дрожаний в небе темных мохнаток.

Мы смотрели вверх: вон... уже... мохнатки. Вселенная занята производством тоски.

Мы подплывали друг к другу. Смотрелись друг в друга. Потом в небо.

— Началось.

Тянулись от тоски, как тени вечером.

— Будет еще ужин, — ободряла одна тоска другую. Погребальный пир, тайная вечеря, трапеза смертника.

Родители, то есть те, что родили нас, радовались, что нас прекрасно кормят. Там прекрасно кормят. Прекрасно.

Прекрасные кусочки мяса с гречневой кашей мы вкушали как их плоть и кровь. Потом будет только ночь-ничто, но от еды мы опьянели. Не отклеились бы завтра вишенки. Воля моя, прижми эти вишенки. Изо всех сил.

Почему я вдруг в лесу один, может быть, я немного отстал потому, что глина скользила после вчерашнего дождя, и дождь начинался опять, домой, все домой, кругом осины, и вселенная уже сочилась тоской, но осины мохнатки тоски задерживают, и поэтому небо кажется между ними светлее. Я хочу заломить руки и спросить: почему? Осины, как реснички, я гляжусь в светлую тоску, и гляжусь-гляжусь, и меня нет, мама никогда не стояла на той фотографии у перил парохода, солнце не слепило ей глаза, я не шел по мосту, нога моя не чувствовала стертой в щепу и мягкой, как мочала, доски, и папа не шел рядом, ничего не было, и пусть ничего никогда не было, ничего не надо, небо не живое, просто дождь, дождь не живой, осины не живые, глина не живая. А осины зашумели, прижались, пожали плечами, мертво взглянули: неужели неясно, что все мертвое?

Я был вестник нового спасения среди неприкаянных душ. Все мертвое, ободрял я их, ничего нет, ничего не надо, все пусть будет неживое, шептал я в тоску, подплывшую глаза в глаза.

— А маму тоже не надо? — почти улыбалась нелепости моей веры тоска.

Глаз был совсем не такой, как небо между осин,— глаз этот был другой совсем, живой, как мама, теплился, а реснички: тук-тук.

— Нет, маму надо, — теплели мы вместе, ведь у нас был один глаз, мы были одной тоскою, только стороны разные.

— Маму не надо! — почти веселились мы оттого, что кто-то мог этому верить: искорки, даже крошечные, пробежали в глазу по тончайшим нитям, табачным, дымчатым.

Мы расставались, или, вернее, расплывались, и тоска наша делилась надвое, получилось две тоски, и каждая брела, куда глаза глядят, и так я брел, брел и встретил огромную, в белом халате, мывшую пол.

Рот у нее был цвета кирпича на солнце, и я смотрел, как она мыла пол. Тоска была как боль, и надо было делать то, от чего боль, казалось, утихает, и оттого что я смотрел, как она мыла пол, боль, казалось, утихала.

— У тебя мама есть? — спросила она, моя пол.

Я задрожал. Откуда она знает? Я в ней, значит, не ошибся.

— Да, — сказал я, закрыв глаза. Мама стояла у перил пахода, солнце слепило ее.

Я ждал продолжения чудотворства.

— А папа?

— Да! — сказал я. Доска была стерта в щепу, мягкую, как мочала. Папу я не видел, но он был рядом.

— Вот как хорошо, — сказала она.

Вот как хорошо! Они есть. Не в этой жизни, в другой. Но есть. Вот как хорошо.

Боль почти совсем утихла. Вот как хорошо. Почти не болит. Вот как хорошо.

— А дедушка с бабушкой?

Я хотел отплатить ей за ее всеведущую любовь ко мне. Я знал: то, что я скажу, будет смешно, как знает актер, что вот сейчас зал грохнет от смеха. Этот смех ее будет моей платой за ее всеведущую любовь, потому что ничто не дается даром, и, может быть, платы моей еще останется на всеведущую любовь ее ко мне и в будущем тоже.

Я был как актер, который не может себе позволить не быть в ударе.

Представление началось. Я взглянул задумчиво на потолок, повел глазами.

— Дедушка с бабушкой?

Тонкость игры была в беспечности, как будто вспомнил почти с зевотцой.

— Да не знаю, куда они делись, сдохли они.

Как если б актер рассчитывал лишь на жалование — прокормить семью, но в зале вскакивают на стулья, обезумевший рев, и во втором ряду лицо, как в марте сверкающий льдом и ручьями карниз. Я думал, она фыркнет, и то хорошо, я готов был все свои творческие силы расточить на то, чтобы она фыркнула, а она положила голову на руки, в руках у нее была щетка, на нее она опиралась, ей так было удобнее смеяться стыдливо, долго и всласть. Потом она подняла вишневое лицо, оттирая слезы, и губы у нее отсырели, как кирпич.

Теперь при виде меня, она сначала собирала всех, кого могла, из так называемого обслуживающего персонала. Она не подозревала, что я играю, и я понимал, что в этом и состоит искусство: чтоб она не подозревала.

— Разве можно про дедушку с бабушкой так? — каждый раз говорила она потом с тем выражением, с каким, наверно, при Алексее Тишайшем шли в баню после киатра.

Меня пугало, что каждый раз она эти слова говорила все раньше и раньше: банное благочестие просыпалось в ней все быстрее, а я думал о том роковом представлении, когда она не засмеется совсем, а сразу же пожалеет моего дедушку с бабушкой, и что будет со мной, без ее любви-смеха.

Как трудно создать счастье даже для ничтожных мошек. Дайте мне книгу посетителей вашего детского сада. Я хочу с благодарностью записать в ней: Жаба и Галка желали, чтоб мы пили, нет, не просто кипяченую воду, а чудесный клюквенный морс, вернемся с прогулки, и вот, пожалуйста, чудесный клюквенный морс.

Никто их не заставлял. Это они от добра. Сами. Сколько сил у них уходило на приготовление этого чудесного морса.

Конечно, если бы, допустим, даже пять или десять мешков захотели бы пить, вернувшись с прогулки, то трех кувшинов чудесного морса вполне бы хватило.

Но получалось так, что некоторые из нас захотели пить как только мы вышли на прогулку, или может быть, это им только показалось при воспоминании о вчерашней нехватке чудесного морса, и они сообщили о своей жажде другим, и тем тоже захотелось пить, и вся прогулка стала всеобщим молением о чудесном морсе, поскольку просто сырой воды нам не дадут, а кипяченой нет, потому что чудесный морс и есть вместо нее.

Разумеется, вернуться раньше никак нельзя, и мы разжигали друг друга рассказами о жажде и ее утолении, втягивали воздух, чтобы охладить язык, и это было как светопреставление, о котором рассказывает Поля: "Везде золото, золото, а воды нет". Золотом мы не интересовались, а воды не было, светопреставление, пить, пить, мы хотим пить.

Взрослый может отчуждать чувство жажды от своей личности в течение двух или трех часов по крайней мере. Но в том возрасте каждый из нас был сплошным чувством жажды, может быть, потому что мы не знали, что такое два или три часа и чем отличаются они от столетия или вечности.

Наконец. Три кувшина. У каждого в руке маленький стаканчик. В очередь ринулись все. Кроме Лютика.

Некоторые пьют, казалось бы, через силу. Но откуда известно, что пить они не хотят, а пьют просто оттого, что вода — то есть чудесный морс — стала так цениться? Может быть, они просто очень разумны и считают, что, раз уж получил стаканчик драгоценной влаги, надо потреблять ее не спеша, тщательно проглатывая ее через как можно более значительные промежутки времени, коль скоро драгоценная влага вся уже роздана и спешить больше некуда.

А порядок в очереди Жаба или Галка установить не могут, потому что у мешков есть свой собственный порядок, который соответствует порядку в первобытных племенах и согласно которому вождь племени может получить все, а рядовые члены племени — ничего, и поэтому мальчик, который был вождем потому, что он был среди нас переросток, и на нем

были огромные ботинки с шипами, выпил уже три стаканчика, в то время как многие кричали, желая сказать, что как же так, они не выпили ни одного, но они не могли это ясно выразить, на их языке не было самого этого слова: справедливость, и крик получался непонятный, как крик птиц, и руки со стаканчиками реяли вокруг Жабы или Галки, как вокруг утеса, а кто просто сидел на отшибе и плакал, другие же считали: довольствуйся малым и ты будешь счастлив, и, получив один стаканчик, пили его, как поцелуй, и только Лютик шагал, как всегда, вдоль стены — туда и обратно, туда и обратно — и его спросили от всех отдельно, хочет ли он пить, и он остановился: нет. И опять — туда и обратно, туда и обратно.

И также неизвестно, почему день был шершавым краем и вдруг к вечеру мошки забились: солнце, солнце.

Мошки ничего о солнце не знают, и когда я пишу это, я тоже ничего не хочу знать, а только: солнце, солнце.

На ней был сарафан того цвета, который бывает, когда на солнце вечером уже можно смотреть, но оно все еще слепит и греет, в некотором царстве плеч, в некотором государстве с бретельками сарафана было все совершенно розовым, как небо, которое увидел Коро, умирая, а может быть, все это было только ее улыбкой, но я ни разу не взглянул ей в лицо, чтобы не ослепнуть.

— Ах вы мои воробышки, — сказала она, и правда, на нас были халаты, в которых нас можно было принять за маленьких больных или арестантов, но ей мы могли казаться и воробышками.

— Ах вы мои воробышки.

Александра Павловна, царица Александра, какое имя, Александра, это ведь как чугунная такая ограда, высокая, в завитках, а за ней некоторое царство, некоторое государство, да пустят ли меня, но я лбом к ограде прижмусь, я буду смотреть в твой сад, в деревья твоих кровеносных сосудов, в листву твоих кос, с пушистыми кисточками на конце, а Павловна, это ведь круглые деревянные перила, я руку на них положу, и тогда меня пустят, я буду так идти, не поднимая глаз, чтобы не ослепнуть от улыбки, солнце, солнце, оно для всех, даже для самой крохотной мошки.

Семен ЛИПКИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается И. Л.

Быть может, потому, что я не раз
Слагал об этом мысленно рассказ:

Иль небо мне навстречу устремилось,
Послав мне слушательницу, как милость;

Быть может, потому, что старый год
Постиг, уже не споря, свой исход;

Иль, может, потому, что в этом месте
Сближалось бурно с городом предместье;

А, может быть, все дело было в них, —
В нерастворенных газах выхлопных,

Иль в том, что там, где молод был когда-то,
Теперь к тебе спешил я вдоль заката, —

Нарушен был планетный обиход:
В два яруса вставал небесный свод.

Мне озером казался верхний ярус,
Челн самолета в нем купал свой парус,

А в нижнем краснопалая рука
Как бы остановила облака.

И мир волшебный, горный, двуединый
Так засиял во мне, что из машины

Иная мне привиделась зима:
Там, где теперь возвысились дома,

В годину мелкости и завирухи
Построенные в современном духе,

/Так, к слову: может, в том-то наш недуг,
Что времени мы подчиняем дух/, —

В те годы ладно струганной толпою
Стояли пятистенки под щепою.

Однако же соседствуя порой
С приземистой постройкой городской.

Запомнились мне к станции поближе
Аптека, и амбар кирпично-рыжий,

И крест, сквозь вечернеющий простор,
Как мученик, взошедший на костер

Над храмом, лишь на днях приговоренным
К бездействию активом межрайонным.

Скворешни, и колодцы, и для пчел
Колоды, и умолкнувший глагол

Колоколов, — все было мне предвестьем
Того, что разразится над предместьем.

Я медленно оглядывался здесь.
Впервые в русскую попал я весь.

Ты не узнала б нынешнего друга
В том юноше, в том уроженце юга.

Но были ль странными мои черты?
Смесь жажды жертвенности и тщеты,

Невежества, начитанности, вздора,
Непримиримости и термидора.

Меня сюда устроил мой земляк.
Он видел сам себя среди гуляк,

Среди бродяг, веселых и беспутных,
Певцов и птицеловов бесприютных.

А там — и новый образ: военспец,
Кавалерист... Ты улыбнешься: лжец?

Но, право, это было б слишком просто!
Женственноплечий, но большого роста,

С седым вихром на молодом челе,
Артист и мой наставник в ремесле

Словесном, — он сверкал серо-зеленым
Сверканьем глаз, он был Пигмалионом,

Который самого себя лепил,
Но не себя, — ваяние любил.

Он из себя выдавливал еврейство
Горячкой романтического действия,

Ружьем или манком в ловецкий час,
Да строчкой, просмоленной, как баркас.

Все, что искал он раньше в чудных книгах,
Он находил в наркомах и комбригах,

В тачанках и кожанках, и обман
Он впрыскивал в себя, как наркоман,

Нет, как шаман камлал он иступленно,
Завороженно славил гегемона

И бунта дикого девятый вал.
Но иногда глаза он раскрывал,

И пред внезапно исцеленным взглядом
Метался меж Махно и продотрядом

Несчастный украинец-хлебороб,
Иль сердце вдруг сжимал, бросал в озноб

Тот соловей, что пел в газетной клетке.
А голос у него, был чистый, редкий,

Первопородной звонкости, хотя
Наставник мой дышал хрипя, кряхтя,

Стихи в среде читая разномастной.
Потом шутил: "Могу бороться с астмой, —

Одно спасительное средство есть:
Вслух Мандельштама надобно прочесть".

О говор юго-западный, певучий!
Как поднималась истина созвучий

Из глубины в те дни заглохших строк:
Случевский, Ходасевич, Клюев, Блок...

Усевшись, будто сарацин ленивый,
Мои выслушивал он инвективы,

С насмешкою над молодостью лет
И лишь привычно негодуя: "Бред".

/Он и мою рифмованную шалость
Словечком этим награждал, случалось/.

Однажды я стихи отнес в журнал,
Где он служил: знакомством не желал

Воспользоваться, — отдал секретарше.
Что ж начертал на них товарищ старший?

"В "Епархиальный вестник"... Два-три дня
К нему не приходил я. Но меня

Он утром навестил в моем чулане.
Спросил в дверях: "Чи вы сказались, пане?"

Прочтите что-нибудь". Я стал читать:
Слаб человек... "Искусно, но опять —

Набор отживших мыслей: вера, вече,
И прочее, и воля... Сумасшедший!

У вас есть слух, не слишком острый глаз,
Но четко вы рисуете подчас.

Пишите то, что от пупа, от пуза.
К чертям ваш детский бред! Пусть ваша муза

Со всей страной двинется в поход!"...
Мой детский бред... О двадцать первый год!

Коптилка еле тлеет. Голодаем.
Однако мамалыгой и малаем

Торгуют бабы из молдавских сел,
Сгорел собор. Обледенел костел.

Как в раю, ни к чему работа.
Чуть вечер — запираются ворота

С прорубленным квадратиком-глазком:
Тот не войдет во двор, кто незнаком, —

С винтовкой, то пугаясь, то рисуясь,
Жильцы дежурят, важно чередуясь.

Нас начал часто посещать один
Занятный гражданин. Свой сахарин

Он приносил, и в кипятке чайники
Всплывали вверх, и жмых шипел в румынке,

И нам рассказывал знакомец наш
О том, как он пришел на вернисаж

В Париже, о балетных чародейках.
Он прежде был богат, — из братьев Лейках, —

Тянулся он к чекистам. Среди них
Загадочней, острее остальных

Казался Блюмкин, тот, кто Гумилевым
Был обозначен живописным словом,

Тот, кто стрелял в имперского посла.
Но чья рука его рукой вела?

Романтик принимал его с опаской
Но и с восторгом перед мрачной сказкой.

В ту зиму наш поэт увлекся вдруг
Историей Конвента. Часто вслух

Он максимы Сен-Жюста и Марата
Читал чуть нараспев, но хрипловато,

И во французских слышались речах
Сегодняшняя боль и русский страх:

Уже рождалась в той зиме тревога.
Как и его друзья, он думал много

О том, кто был, завернутый в ковер,
В Алма-Ату отправлен под надзор...

За липами, где горизонт сиренев,
/Как в "Накануне" описал Тургенев/,

Расположились дачи у реки.
Там жили крупные большевики.

Мы шли туда путем кратчайшим, что ли,
/Сейчас уже не помню/, через поле.

Вдали дома чернели, и сперва
Мне избами казались деревья.

Природа нас разглядывала молча.
Пес выскочил, остановился. Волчья

В собаке мнительность была. Кругом
Все в древность шло. Великий перелом

Как бы не нависал над земледелом.
Еще был чым-то вотчинным уделом

Окрестный край, и даже Юрьев день
Еще не наступил для деревень,

Лежавших за снегами, за веками,
А мы брели по полю чужаками.

И только поездов упрямый бег
Напоминал, что есть двадцатый век,

Ломающий обычай, веру, право
С самонадеянностью костоправа...

Мы направлялись в гости. Он с собой
Взял и меня, чтоб одному домой

Не возвращаться в стуже долгой ночи.
Он ликовал: "Путиловский рабочий,

Как говорится, парень от станка,
Работает инструктором Цека.

Жена — бабец что надо, одесситка,
Моя приятельница"... Вот калитка

И с мезонином деревянный дом.
Они в хоромах стали жить потом,

Тогда лишь каждый потрох обнажили,
Когда самих себя распотрошили.

Сама хозяйка нам открыла дверь.
Что в отошедшем вижу я теперь?

Авторитарную непринужденность;
Ее шифоновое платье; склонность,

Однако, там, где нужно, к полноте:
При этом ноги тонкие: и те

Глаза, что нравились великороссам, —
Тем выдвигенцам кряжистым, курносым;

На слишком выпуклой груди янтарь;
Партийно-художественный словарь, —

Все это было сказкой, стало былью,
И сгнив, смешалось с лагерною пылью.

И то, что и не снилось гольтепе —
Стоячие часы и канапе,

Дворянских гнезд разрозненная мебель, —
Все так же превратилось в пыль и небыль...

Нам приготовили домашний стол.
Был лишь один нерусский разносол —

Со шкваркой редька. И лафитник с горькой
Был позлащен внутри лимонной коркой,

И смех, и "я люблю лесную глушь",
И как-то странно появился муж, —

Как будто ниоткуда, не из двери.
Воображенье или суеверье?

Он был урод. Он был колдун-урод!
Почти что карлик. Был наполнен рот

Несхожими зубами, — будто в разных
Ртах реквизированными. Приказных

Снабжали, вероятно, в старину
Глазами из такой слюды. К окну

Он резко подошел и, к нам спиною,
Зачем-то постоял перед ночью

Безмолвной тьмой, придвинув лоб к стеклу,
И, повернувшись, пригласил к столу.

Тост произнес. "Так, значит, мы соседи", —
И перестал участвовать в беседе.

Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
"Зеленой лампы" одаренный круг,

Потом он стал читать. Читал с подъемом,
Со свистом, звоном, щелканьем и громом.

Хозяйка, сделала глазами знак:
Мол, восхитись. Хозяин-вурдалак

Сказал, вульгарно ставя ударенье:
"Иметь было б неплохо точку зренья:

Вы пограничник иль контрабандист?
А стиль у вас, что говорить, речист".

Кто мог предположить, что мы в берлоге
Бесовской? Что уродец кривоногий,

Сей недоумок бедный, — сатана,
В чьих рукавицах смерть заострена,

Что верных слуг народец трехгрошовый
Ужахнется при имени Ежова!

Но горе нам: не бес и не колдун, —
Крючок приказный, ябеда, топтун,

Лет через семь, умом и волей скудный,
Какою же, однако, силой чудной

Принудит баловней и главарей,
Светил наук, героев, бунтарей

Гнить в гноище изгоями рассудка?
Вопрос тяжел, но и ответить жутко.

Мы вышли. Ночь. Постройки и дворы
Черно молчали на снегу. Миры

С белесой выси, в воздухе студеном,
Мерцанием сияли отчужденным,

И сосны пред княгинею-зимой
Стояли, как стрельцы, и спутник мой,

Сердечных не любивший излияний,
Насмешник и остряк, как все южане,

Нагнулся, обхватил меня рукой,
От слез и снега мокрою щекой

К моей щеке неловко прикоснулся.
Иль Божий свет опять на миг проснулся

В незрячем? Иль буран грядущих лет
Провидит оком голубя поэт?

20. 1. 1974.



Инна ЛИСНЯНСКАЯ

ЗАРЕШЕЧЕННЫЕ ПОЕЗДА

Уже не думаю о Праве,
Не жду хороших новостей —
Я приготовилась к расправе
Над скорбной Музой моей.

Она еще не в спивке узниц
И рук не держит за спиной,
Бредя Москвой по грядкам улиц,
Где снег лежит, как перегной.

Столица дремлет под огромной
Пожухлой облачной ботвой.
Еще не поднят шум погромный
Охотнорядскою братвой

И Муза говорит покуда
На Достоевском языке,
И брат Иванушка-Иуда
Еще не подошел к щеке, —

ЗАРЕШЕЧЕННЫЕ ПОЕЗДА

91

Серебряного поцелуя
Еще он Музе не нанес,
Еще в России Аллилуйя
Кровавых не глотает слез.

* * *

Расцвели вдоль моря олеандры,
Розовая тень ушла в песок.
Сердце или море хочет правды,
Ударяя голосом Кассандры
В ребра, в парапет, — наискосок,

Не она ли, плача, прорицала,
Что взойдет кровавая звезда,
И на Север тронутся с вокзала
Зарешеченные поезда,

Как в одном из них уйдет в потемки, —
В шахту, в мерзлоту, за Енисей, —
Инженер по нефтеперегонке,
Дядя твой, курчавый Моисей,

И как брат от брата отречется,
Как с работы твой отец вернется,
Повернет в двух скважинах ключи, —
И альбом семейный захлебнется
Керосином в кафельной печи,

Как бутылку из-под керосина
Бабушка к груди своей прижмет,
Словно убаюкивая сына,
И внезапно влажно запоет...

1975 г.

* * *

Туго перекручена
Жизненная нить, —
С детства я приучена
Прощения просить.

Стала жизнь веревкою,
Хлещет, свищет жизнь, —
Назовись воровкою,
Покайся, повинись!

Назовись убийцею.
Помилованья жди!
А за легкой птицею
Летят, летят дожди.

Это сны летучие,
Это снятся сны,
Что других не мучаю
И нет на мне вины.

1976 г.

* * *

Всеобщие волны катились,
Всеобщее время неслось,
Но вольные мысли ютились
В умах, существующих врозь.

В сожительстве нету свободы —
И намертво я поняла,
Что даже церковные своды
Не души роднят, а тела.

1976 г.

СИРЕНЫ

Все было в хаосе,
Все было, как сейчас, —
На мокром парусе
Горел закатный час.

Сирены плакали
О собственной судьбе,
А цепи звякали,
Противясь ворожке.

И это пение
Среди подводных скал
Один из гениев
Превратно толковал.

О Боже праведный,
Ты видишь все, как есть, —
Судьбе злопамятной
Грехов моих не счесть.

Но я ль бесовствую,
Когда, дыша в воде,
О горе собственном
Чужой пою беде?

1974 г.

* * *

В столивневый июль
В число десятое
Продернута сквозь нуль
Тоска завзятая,

Продернут длинный дождь
В ушко игольное,

И в тонких пальцах дрожь
Невольная.

И как мне совладать
С такими пальцами?
И что мне вышивать,
Склоняясь над пальцами, —

Над кругом бытия,
Где вся материя —
Из снов и забытья
И суеверия?

1978 г.

* * *

Я вряд ли смогу находиться в системе
Какой бы то ни было,
Я вряд ли смогу расчленить свое время
На убыло — прибыло.

Несчастливая память — и та не разъята
На правду и вымысел,
И помню я больше, чем знала когда-то,
Когда меня выбросил

Потоп в тот хаос, где Христос и охранка
И дань суеверию,
Где грубо кусок вымогает цыганка,
А было — империю,

Где небо так ясно и так сумасбродно,
Где так я зависима
От каждой пичужки, живущей свободно,
Как было замыслено.

* * *

На нежной груди херувима
Стального столетья броня...
А я лишь одним одержима:
Ты больше не любишь меня!

Под небо Иерусалима
Моя устремилась родня...
А я лишь одним одержима:
Ты больше не любишь меня!

К земле подступает незримо
Начало последнего дня...
А я лишь одним одержима:
Ты больше не любишь меня!

1973 г.

* * *

К чему упрочивать нам случай?
Запомни только руки.
Лишь море зыбкое живуче
Да папоротник хрупкий,

Лишь взоры беглые понятны
Да полумрак пятнистый,
Да белые на небе пятна
Над почвой каменной.

Все близкие — едва знакомы.
Запомни только имя!
Еще мы встретимся, еще мы
Успеем стать чужими...

1978 г.

МАГДАЛИНА ПЕЛА

"Я к тому добра,
 Кто не мной утешен,
 Я тому сестра,
 Кто премного грешен.
 Заповеди чту,
 Избегаю правил.
 Я ль не дочь тому,
 Кто нам крест оставил?"...

Пахло от окна
 На дворе московском
 Горечью вина
 И горящим воском.
 Кудри на плечах
 Золотили тело,
 При одних свечах
 Магдалина пела.

* * *

Моя палата голубая,
 Моя палата двадцать шесть.
 Лежу и стенку колупаю —
 Ни пить не хочется, ни есть.

Зачем я думала, мой милый,
 О том, что будет впереди?
 Не видел голубой могилы,
 И не ходи! И не гляди!

Не прорастет сквозь краску эту
 Ни сон, ни травка, ни былье,
 Да и не в саван я одета —
 На мне клейменное белье.

И одному клейму известно,
 Что здесь и горе неуместно
 И посещения не нужны.
 Лежу в палате многоместной —
 Четыре голубых стены.

* * *

Здесь мне еще непривычно.
 Но, опершись о забор,
 Юноша в куртке больничной
 Смотрит в глаза мне в упор, —

Словно в кольце обручальном,
 В желтом колечке зрачок.
 Кто ты, со взором печальным?
 Видимо, не новичок.

Зная все доски в ограде,
 Здесь, среди белого дня,
 Прямо в глаза мои глядя,
 Манит в лазейку меня,

И на свободе, у свалки,
 Часто целует в глаза.
 Что ты, мой милый, мой жалкий,
 Мне это вовсе нельзя!

Не потому ль в этом доме
 Дни скоротаю свои,
 Что позабыла все, кроме
 Немилосердной любви?

* * *

Нищает дух не оттого ли,
Что мы иной желаем доли,

Что жизнью вечно не сыта
Ночная хищница-мечта?

Прикинувшись звездой заветной,
С пути сбивая незаметно,

Высасывая свет из нас,
Горит ее совиный глаз,

И под недвижным желтым глазом
Мы медленно теряем разум,

И чувствуя блаженный страх,
Трепещем в розовых когтях.

* * *

Какие длинные
Дороги у земли, —
По синей линии
Уходят журавли.

Какие желтые
Настали холода!
Но, твари тертые, —
Мы знаем, что куда.

Но, люди битые,
Мы знаем, что почем, —
Псалмы Давидовы
Мы снова перечтем.

К. Лозовской

Но страхи здешние
Не отворят тюрьму, —
Мы люди грешные,
И знаем, кто к чему.

ПЫЛЕСОС

Какое несчастье, что я научилась смеяться!
Как быть и что делать — уже не задам я вопроса.
С тахты поднимаюсь, когда начинает смеркаться,
И движусь по миру, держась за кишку пылесоса.

Гуди и заглатывай все, что незримо и зримо, —
И совесть и память, и грифель толченный и пудру,
Отрепья сознания и струпья отпавшего грима, —
Все это уже ни к чему мировому абсурду!

Заглатывай косточку яблока — весточку рая!
Какая потеха вечерняя наша морока, —
В единое нечто разрозненный сор собираем
В том хаосе, где и пылинка — и та одинока!

Своей насыщаться работой — не это ль порядок?
Гуди, пылесос, и заглатывай свежую пищу! —
Засохшие бабочки, хлопья истлевших тетрадок
И пепел табачный, и пепел того пепелища,
Где я научилась смеяться...

Теперь, когда Александр Морев /Александр Сергеевич Пономарев/ умер, а умер он совсем недавно — 12-го или 13-го июля 1979 г. — его труп нашли в глубоком колодце, вырытом дорожниками, куда он бросился, отчаявшийся распутать запутанный узел жизни, — так вот теперь, читая его рукописный сборник "Листы с пепелища" /стихи 1949 — 1967 гг./, ощущаешь содержащееся во многих стихах предчувствие конца. Александр Морев — поэт прощаний. Сколько раз он прощался. А вот теперь простился — навсегда.

Один из наиболее самобытных поэтов Ленинграда 60-х годов, он стал известен не через печать, но своими многочисленными выступлениями в кафе, на институтских и других вечерах, на домашних чтениях. За одно из выступлений — он прочел тогда в большой аудитории несколько резких стихотворений — ему на несколько лет запретили выступать публично.

Читал он замечательно — смело, убежденно, мощным, богатым оттенками голосом. Это соответствовало стихам — он говорил с читателем ясно, отчетливо, с полным сознанием того, о чем говорил.

Двадцать лет интенсивной работы, а пробиться в печать, в сущности, не удалось. А он мог бы издать несколько книг — стихов, прозы. В приступе отчаяния однажды он сжег свои стихи. Но их хорошо знали, у многих были списки. Кое-что удалось восстановить.

Александр Морев был очень талантлив. Он брался за многое. И как человек, и как творец, он был яростен, не банален. Он говорил своим голосом, откровенно, открыто, доверчиво, о своем. В стихах он живой человек. А ведь это редкость.

Александр Морев прожил столько, сколько смог. Ребенком он пережил блокаду Ленинграда, взрослым — непризнание своего труда, смысла всей своей жизни. Он по своей воле оборвал свою жизнь. Но он любил жизнь, любил Моцарта и Пушкина, любил искусство — поэзию, живопись.

А. МОРЕВ

ЛИСТЫ С ПЕПЕЛИЩА

ПРОЩАЛЬНОЕ

Фонари-фонарики по городу бегут,
поздние трамвайчики по улицам ползут.
Что с тобой поделаю я,
голова-бедовая?
В Никуда приеду я
по тебе, Садовая!
Там, в уютной комнатке
все в этюдах стенки.
На стенах, на потолке
красные оттенки.
В синих папиросных клубах
гречневые волосы,
твои губы вязнут в губы
в мои папиросные...
Так балуй меня, балуй
тонкими губами.
И руками убаюкай —
тонкими ветвями.

Заскребется полночь-кошка
 за горячей печкою,
 за трамвайным за окошком
 пусто поздним вечером.
 Лишь фонарики-фонарики
 по улицам бегут,
 под фонариками пьяного
 с чинариком ведут.
 Я тону, тону в глазах глубоких,
 выплываю,
 я губами не ресницы —
 камыши хватаю.
 Лучше б мне тебя не знать,
 робкую, милую,
 твое тело не сгибать,
 тонкое, ивовое.
 Я хочу побыть с тобой,
 долго ли, недолго.
 Спи, туман мой голубой,
 иволги за Волгой...
 Завтра кисть в твоей руке
 дрогнет, закачается.
 Только тихо на реке,
 только все кончается.
 В подворотне четверо
 кого-то стерегут...
 Ах, фонарики-фонарики
 по городу бегут...

* * *

Мне кажется, что я уснул давно.
 Я сплю и вижу сон:
 вот вы сидите,
 И вечер на дворе, и темное окно,
 И на меня вы,
 как в себя, глядите.
 А я — луна и за луной темно.

Так в чем же свет?
 В волнении свечи?
 И в чем значенье жизни?
 В звонком слове,
 которое неуловимо, словно
 в руках судьбы разящие мечи?

Так почему тревожит вас мой голос?
 Попав в расщелину чужой души,
 шевелит он, как ветер, зыбкий волос,
 не нарушая голубой тиши.

Так травы распрямляются в воде,
 тела свои расправив по течению.
 Но все полно стремлением к беде,
 и присяганье клонит
 к отречению.

* * *

Ближе к ночи распяли его
 У пивного ларька за углом.
 И в еврейские ноги его,
 и в еврейские руки его
 люди били тупым кирпичом.
 Ночью дождь хлестал по щекам,
 по бортам пиджака, по ногам,
 дождь хлестал его накрест крест,
 дождь хлестал — и хлестать устал...
 Но еврей рано утром воскрес
 и за воздухом в очередь стал.

* * *

Тоска грызет, быть может, оттого,
 Что стал рабом вечерних настроений.
 Они ждут вечера у дома моего.
 Луна взошла,
 они заходят в сени.
 Вошли,
 расселись
 тихо на диван,
 с колен свисают голубые руки...
 Кто там еще?
 Мы звуки!
 Входят звуки,
 себя, как ходики, развесив по стенам...
 И никого не хочется мне видеть,
 ни с кем нет сил встречаться, говорить.
 И кажется, что я давно устал любить,
 как год назад устал и ненавидеть!

Стол.

На столе раскрытая тетрадь,
 И нет ни папирос, ни сигарет...
 И думаешь: О чем, зачем писать?
 И так молчишь, не зажигаешь свет.

Март, 1968 г.

МАЛИНА

Немного слов, затейливых, нескромных,
 и над кроватью коврик для детей.
 Все было так обычно, как у многих:
 У птиц, зверей, у мух и... у людей.
 В квартире женщина, он для нее — мужчина.
 Играют дети во дворе в песок.

краснеет коврик на стене малиной,
 со стула виснут галстук и чулок.
 Открыты окна, в окнах занавески,
 и солнце движется за ними по стене,
 а дети во дворе, и чей-то голос детский:
 — А мама куклу все не купит мне...
 И город словно затаил дыханье,
 и им бы, все познав, понять и перестать,
 но снова шум двора, трамваев громоуханье,
 квартиры тишина, и в тишине — кровать...
 Запомнил, но не комнату мужчину,
 не женщину — нет! — коврик на стене,
 как осыпалась кроткая малина,
 как засыхала тонкая малина,
 как, засыпая, думала Марина:
 "А мама куклу все не купит мне!.."
 И детская в нем радость вдруг запела.
 Пришел он снова, только к той, меньшей,
 он улыбался, позвонил несмело,
 большую куклу пряча за спиной.

* * *

Та — другая — не придет ко мне
 в комнату, где фикусовый глянец
 растопырил листья на окне.
 Там Пикассо красный на стене,
 там Пикассо синий на стене,
 там вино в наполненном стакане.
 Там затейливый узор обоев
 не скрывал клопиных старых гнезд,
 там нас как-то случай свел обоих,
 там нас как-то муж застал обоих —
 дворник, сволочь, видно, все донес.
 Муж и я. И наша, та, другая
 только вскрикивала из угла.
 У него спина была тугая

и глаза, и лоб, как у бугая —
 вся в наклон, по бычьи, голова.
 Может, что и слышали соседи,
 как на стол, на блюде он упал,
 может, что и слышали соседи,
 только я стоял, дышал, молчал.
 А босая, наша, та, другая,
 белая, как призрак в простыне,
 медленно сползала по стене...
 Дворник, дворник, не тебя ругаю...
 ...Фигус, страшный фикус на окне!

* * *

Он пришел с войны,
 ночью лег на кровать,
 лег он подле своей жены.
 Надо было смертельно устать,
 чтоб с женою молчать,
 чтоб жену не ласкать,
 нужно было мертвецки устать.
 О, какой был покой простыней и перин!
 О, какой был покой, —
 как у снежных долин,
 когда в соснах плывет луна!..
 Только —
 ночью проснулась жена:
 т и ш и н а...
 Тронула стену —
 стена холодна.
 Мужа нет,
 снова нет,
 она снова одна.
 На пол крест положила луна.
 Он бежал от пикейных больших одеял,
 он бежал от жены,

как из плена бежал!
 Его дом, как блиндаж,
 как вокзал.
 Он лежал на полу
 у дверей
 в углу,
 он, накрывшись солдатской шинелью,
 спал.
 И во сне он жену целовал!
 Целовал...

НОВЫЙ СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ
 ЛЕОНИДА ИОФФЕ "ТРЕТИЙ ГОРОД"
 МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПО АДРЕСУ:

L. Yaffe
 2/18Hagana St.
 French Hill
 Jerusalem
 ISRAEL

ЦЕНА: 100 ЛИР
 ПРИ ЗАКАЗЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ: 3 ДОЛЛАРА.



ПУБЛИЦИСТИКА, СОЦИОЛОГИЯ,
КРИТИКА

**Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами.**

И. В. Сталин

**Эх ты, черноногая, не знаешь, где
лево, где право.**

Он же, цитируя классика.

Н. ПРАТ

ПРАВЫЕ, ЛЕВЫЕ И СОЦИАЛИЗМ

Бессмертный гений русского языка наделил слова "левое" и "правое" вполне определенным смыслом. "Правое" связывалось с правотой, справедливостью, "левое" — с чем-то недозволенным, нелегальным, хотя и соблазнительным. "Левые дела" означают подпольный бизнес. "Левое искусство" представляется стандартному советскому человеку явным жульничеством. Так или иначе, но стойкое отвращение эмигрантов из Советского Союза ко всякой политической левизне стало неоспоримым фактом. Подобно интеллигентному слесарю Виктору Михайловичу Полесову, созданному развенчанными кумирами молодежи пятидесятых годов Ильфом и Петровым, вчерашний советский человек, как правило, бывает настолько правым, что даже не знает, к какой партии принадлежит.

Если говорить серьезно, то типовая правизна иных советских выходцев свидетельствует о примитивности их политического сознания, в котором слова и лозунги заменяют мысли, а позиция определяется прежде всего элементарными

психологическими реакциями отталкивания от некоторых понятий, связанных с покинутой действительностью. Для этого сознания, особенности которого не являются, впрочем, монополией эмигрантов из Советского Союза, политическая левизна тождественна советскому коммунизму, который вызывает к себе вполне заслуженное отвращение. Поскольку в Советском Союзе, как утверждает его государственная идеология, осуществлен социализм, отрицание социализма в любых его видах является устойчивой характеристикой любительского теоретизирования недругов советского режима, выросших под его опекой. Социализм изображается как зловерное учение, неизбежно порождающее деспотизм или, в лучшем случае, невыносимую бюрократию и экономическую неэффективность. Выходцы из Советского Союза часто оказываются сторонниками неограниченной свободы частного предпринимательства, усматривающими в рыночном хозяйстве не только экономический идеал, но и залог политической свободы. Гимны свободному рынку, распеваемые некоторыми эмигрантами из Советского Союза, полны такого неподдельного энтузиазма, что им может позавидовать какой-нибудь Милтон Фридман, слишком хорошо знающий мир, в котором он живет, для того чтобы проявлять столь некритическое к нему отношение.

Социально-экономические сочинения советских эмигрантов редко несут на себе печать профессионализма. В области больших знаний и серьезной научной подготовки недопустимо руководствоваться простым здравым смыслом. Это приводит к изобретению велосипеда и повторению давно опровергнутых положений экономической науки.

Умозрительные схемы абсолютно свободного рыночного хозяйства не только не соответствуют действительности какой-либо страны, они просто нереализуемы в условиях высокоразвитой современной экономики. К тому же, они никак не могут служить основой политической демократии, как надеются их сочинители. Скорее наоборот, попытка упразднить все многочисленные ограничения свободы предпринимательства, введенные в интересах защиты экономически сла-

рых групп населения, неизбежно привела бы к серьезному политическому кризису, в результате которого самые основы демократической государственности оказались бы поколеблены.

Идеальный капитализм XIX века, обходящийся без государственного вмешательства, на самом деле никогда не существовал. Попытка возродить этот мифический строй, если бы она была предпринята всерьез, и означала бы экономическую и политическую катастрофу. Но всерьез принимают речи о желательности неограниченной свободы экономической деятельности, по-видимому, только те, чья юность прошла в условиях абсолютной государственной монополии и приказной экономики Советского Союза.

Ложной является мысль, будто максимальная свобода личности существует в странах, где государственное вмешательство в экономику сведено к минимуму. Едва ли, скажем, Швеция — менее свободная страна, чем Швейцария. Вообще, представление о том, что свободному предпринимательству непременно соответствует политическая свобода, а государственному регулированию экономики — диктатура, можно было бы назвать вульгарно-марксистским. Политическое устройство оказывается, согласно этому представлению, надстройкой над экономическим базисом, однозначно определяется характером "производственных отношений". Так непримиримые враги марксизма оказываются в плену его самых спорных представлений. Действительность, однако, гораздо сложнее всякого рода доктринерских схем. Не только механизм свободного рынка, имеющий реальную, но ограниченную ценность, но и целая система сознательного, планомерного вмешательства человеческой воли в хозяйственный механизм, неизбежно ставящая довольно жесткие рамки свободе предпринимательства, обеспечивает в современных условиях оптимальное сочетание свободы личности и ее благополучия. Во всех странах свободного мира господствует смешанная экономика, в которой сосуществуют элементы государственного планирования и частной инициативы. Можно спорить о целесообразности того или иного сочетания

этих элементов, но не о самой необходимости такого сочетания. Старые споры социалистов со сторонниками свободной конкуренции в значительной мере утратили смысл. Представления о социализме также претерпели серьезную эволюцию. Упорное отождествление социализма с государственной собственностью и тотальным планированием, характерное для эмигрантских апологетов свободного рынка, является очевидным анахронизмом. Нелишне поэтому напомнить читателю о том, чем является современный демократический социализм, а также о том, кто в наше время может быть назван левым, а кто — правым.

2.

Представления о социализме как о грядущем рабстве не новы. Мысль о том, что национализация средств производства должна привести к чудовищной тирании всевластного государства высказывалась в XIX веке Г. Спенсером. Однако даже в те далекие времена в социализме существовало сильное антиэтатистское течение, представленное сначала анархистами, затем революционными синдикатами, кооператорами, а позже — гильдейскими социалистами. Уже в годы, предшествующие Первой мировой войне, некоторые представители официального, парламентского социализма признавали правоту критиков этатизма и учитывали мнения этих критиков в своих планах будущего социалистического устройства общества. В особенности это справедливо относительно таких лидеров социалистических партий в романских странах, как Ж. Жорес или Э. Вандервельде, в странах, где традиции анархизма были сильны. Эти выдающиеся представители европейского социализма подчеркивали со всей решительностью, что социализм отнюдь не тождествен государственной монополии на все средства производства, неизбежно ведущей к порабощению человека государством, но предполагает широкую децентрализацию управления хозяйством, различные формы самоуправления трудящихся и другие меры, предотвращающие опасную для свободы людей

концентрацию экономической и политической власти. Не столь определенной была позиция германских социал-демократов, государственников и поклонников дисциплины. В наследии Маркса и Энгельса, верными хранителями которого считали себя германские социал-демократы, имеются как этатистские, якобинские, так и антиэтатистские, общинные элементы. Однако самые ортодоксальные марксисты считали своим долгом решительно протестовать против фальшивого "государственного социализма", который проповедовался одно время идеологами германской реакции. Такой социализм означал бы соединение в одних руках политического угнетения и экономической эксплуатации, — писали ученики Маркса и Энгельса.

Необычайно усилившееся в годы Первой мировой войны государственное вмешательство в экономику, которое рассматривалось апологетами германского империализма /и не только ими/ как своеобразный "военный социализм", породило среди честных социалистов решительное отталкивание от всякого этатизма. Начались поиски таких планов устройства будущего общества, которые соединяли бы преимущества плановости и централизации с преимуществами местного самоуправления и непосредственного участия производителей и потребителей в управлении хозяйством. Широкое распространение приобрели идеи английского гильдейского социализма, стремившегося осуществить синтез романского синдикализма с элементами социализма государственного. Эти синтетические идеи легли в основу планов социализации хозяйства, усиленно разрабатывавшихся социалистами разных стран после Первой мировой войны. И по сей день эти планы остаются одной из вершин европейской социалистической мысли. Они обладают живой актуальностью для стран так называемого "реального социализма", т. е. тоталитарной государственной монополии, однако они не утратили своего значения и для стран демократического Запада, где господствует система ограниченного и регулируемого капитализма.

Выдающиеся теоретики западного социализма К. Каутский и О. Бауэр всячески подчеркивали в своих писаниях этого периода, что социализация хозяйства — это вовсе не огосударствление его, но подлинное обобществление, основанное на демократическом самоуправлении производителей и потребителей. Эти идеи противопоставлялись антидемократической практике большевизма, быстро перешедшего от полуанархических идей рабочего контроля и власти советов к свирепому "комиссародержавию" и всевластию бюрократического аппарата.

Прекрасные, продуманные в мельчайших деталях планы социализации, выработанные лучшими умами западноевропейского социализма, остались, однако, на бумаге. Нигде в мире социалисты, ставшие у власти в результате свободных выборов, не попытались осуществить на практике того радикального переустройства общества, которое составляло их цель, записанную в официальных программах. Причины этого странного бессилия демократического социализма сложны.

Немаловажную роль сыграла тут боязнь гражданской войны и диктатуры, преследовавшая социалистических лидеров. Они были в значительной мере парализованы необходимостью вести войну на два фронта — против капитализма и против коммунизма.

Рост фашизма заставил европейскую социал-демократию перейти от наступления к обороне, сосредоточить свои усилия на попытках сохранить те ценности, которые роднят ее с либерализмом, и отодвинуть на задний план стремление к преобразованию общества на новых основах. Но самым важным фактором, определившим отход социал-демократии от ее прежних программных установок, было, по-видимому, то обстоятельство, что общество на Западе развивалось не по Марксу, что рабочий класс отказался выполнить ту миссию, которую возложил на него марксизм, и предпочел улучшение своего положения в рамках капитализма борьбе за социалистическую революцию. Обличаемое коммунистами "предательство" социал-демократии явилось в действительности лишь

верным отражением стремлений и чувств тех общественных слоев, на которые она опиралась.

Прав оказался Э. Бернштейн, призывавший еще в конце прошлого века социал-демократию "отказаться от власти фразы и стать тем, чем она является на самом деле — партией социальных реформ". Как говорил недавно скончавшийся идеолог "новой левой" Г. Маркузе, рабочий класс "интегрировался" в капиталистическую систему. Новые левые сделали отсюда вывод, что носителями революции должны быть не пролетарии, как полагал классический марксизм, но "аутсайдеры" современного индустриального общества — студенты, ущемленные в правах этнические меньшинства, народы отсталых и бедных стран. Это возвращение к бунтарским идеям Бакунина могло иметь лишь очень ограниченный успех. Агенты революции в стиле "новой левой" ни в коем случае не могут стать инициаторами социалистического преобразования общества. Здесь марксистская критика бакунизма сохраняет всю свою силу. Но не означает ли это, что социализм является лишь мечтой оторванных от жизни теоретиков, мечтой, которой не суждено никогда сбыться? Столь категорическое утверждение является все же преждевременным. Хотя можно признать неоспоримым, что марксистское представление об исторической неизбежности социализма не подтверждено ходом истории в XX веке, социализм представляет собой реальную возможность, заложенную в истории. Превратится ли она в действительность, зависит от целого ряда обстоятельств, которые невозможно учесть.

3.

Но что же такое социализм в представлениях тех его сторонников, которые сохраняют верность демократическим идеалам? Ответ на этот вопрос дать нелегко. После Второй мировой войны практическая переориентация западной социал-демократии подверглась теоретическому осмыслению, в результате этого понятие "социализм" утратило почти все свои структурные признаки и стало употребляться для обо-

значения этического идеала, приближение к которому должно составлять содержание практической деятельности социалистов. Если раньше социализм связывался с общественной собственностью на средства производства, то в новейшую эпоху требование социализации экономики было почти повсеместно отброшено и заменено стремлением к сохранению смешанной экономики с преобладанием частного сектора и рыночных отношений, умеряемых мерами демократического планирования. Главной заботой социал-демократов стало не обобществление тех или иных отраслей промышленности, но перераспределение доходов с помощью прогрессивного налогообложения и обеспечение системы широкого социального обеспечения народных масс. Место социализации производства заняла социализация распределения. Экономические идеи, принятые большинством западных социал-демократов, не предполагая социализации собственности, предусматривали значительную "социализацию инвестиций" — рост государственных капиталовложений как средство обеспечения полной занятости и поддержания желательного уровня деловой активности. Все эти мероприятия, совершенно несовместимые со старомодным капитализмом, как огня боявшимся государственного вмешательства в экономику, были после непродолжительного сопротивления усвоены руководителями капиталистической экономики во всех западных странах. Старые различия между капитализмом и социализмом, казалось, почти совершенно утратили смысл.

Одной из главных причин, побудивших европейских социал-демократов отказаться от программного требования обобществления средств производства, было предположение, что широкая национализация создает опасность для демократии, что частная собственность является необходимым противовесом всевластию государства, что свободное рыночное хозяйство обладает огромными достоинствами, недостаточно оцененными прежними социалистами. Логическим завершением этих тенденций в послевоенной социал-демократии явилась принятая в 1959 году в Бад-Годесберге программа немецких социалистов, рассматривающая свободную игру экономиче-

ских сил как норму, а планирование — как печальную необходимость, которую следует свести к минимуму. По существу, европейские социалисты сохранили лишь вербальную связь с тем, что составляло некогда отличительную особенность социализма как течения. Но и традиционный несоциалистический либерализм включил в себя целый ряд элементов социалистической программы и стал почти неотличим от социал-демократии. Так оправдалось мнение выдающегося русского философа С. Л. Франка, который еще в 1931 году предсказывал, что "в конце концов, реальность, как всегда, одолеет отжившие идеи, и "правое" и "левое" из жизни уйдут в учебники истории, где они успокоятся, найдя себе место рядом с "гвельфами" и "гибеллинами".

4.

Все же я полагаю, что понятия "правое" и "левое", несмотря на изменение своего смысла, имеют еще некоторую ценность, оправдывающую их сохранение в политическом лексиконе. Даже если оставить в стороне известное возрождение традиционных представлений о социализме, связанное с концом длительного послевоенного процветания, с инфляцией и безработицей, понятия "правое" и "левое" выражают глубокие тенденции общественной мысли, проявляющиеся на протяжении всей ее истории — от древней Греции до наших дней. Всегда и везде люди, превыше всего ценившие традиции, долг, дисциплину, противостояли людям, превыше всего ценившим свободу личности и восстававшим против авторитетов. Одни предпочитали целое — части, иерархию — независимости, порядок — своеволию, другие предпочитали индивидуум — коллективу, наслаждение — долгу, терпимость и снисходительность — справедливости и верности.

Первые — это люди "правого" образа мыслей, вторые — "левого". В крайнем проявлении "правый" идеал порождает тиранию, "левый" — анархию. На одном полюсе пребывает идеал Спарты, на другом — Афин. Самые различные течения в истории человечества могут быть классифицированы как

"правые" или "левые". Говорят, например, что в эпоху Второго Храма религиозно-политическая партия фарисеев распалась на "правую" и "левую", представленные, соответственно, учениками Шаммая и Гиллея.

С этой точки зрения советский коммунизм представляет собой воплощение "правой" идеологии, "правее" которого стоит, пожалуй, Китай. Западное общество, традиционно культивирующее всяческую терпимость, причем не только политическую, но и бытовую, например, сексуальную, воплощает идеал "левый". Такое понимание терминов, значение которых запутано их неадекватным употреблением — случайным или умышленным — возвращает нас к первоначальной интуиции, засвидетельствованной гением русского языка.

Какой из двух идеалов предпочтительнее? Рискуя быть обвиненным в "право-леваком уклоне" /если воспользоваться несравненной терминологией, изобретенной тем, чьи знаменательные слова поставлены в эпиграф этой статьи/, я рискну также последовать за цитированным выше Франком в его стремлении стать "по ту сторону правого и левого" — и это несмотря на присущую мне природную склонность к "безхребетной левизне".

Выдающийся польский философ-изгнанник Л. Колаковский определил себя как "консервативно-либеральный социалист". Эта парадоксальная формула создана мыслителем, который в краткие дни "весны в октябре" 1956 года сформулировал требования и постулаты польской "левой". С тех пор позиция его несколько изменилась, но не настолько, чтобы отказать от свойственной ему склонности отдавать предпочтение "шуту" перед "жрецом". Определяя собственную позицию, я готов воспользоваться формулой прославленного польского философа.



Соломон ЦИРЮЛЬНИКОВ

БРОДЯЧАЯ ТАЙНА

Истоки постсионизма в современном мире

Вот уже несколько лет, как еврейский мир бурлит: все более возрастающий процент евреев, покидающих Советский Союз, отправляются не в Израиль, а в Америку, Канаду и другие страны мира с высоким уровнем жизни и культуры. Еврейские эмигранты избегают свое государство, нанося ему чувствительный и весомый урон, не говоря уж о том, что, само по себе, это обстоятельство вызывает у израильтян глгучую обиду.

Не прекращается интенсивная дискуссия по поводу того, что дальше делать с этими людьми, все чаще слышатся голоса, требующие принять меры по отношению к ним, лишать людей, не желающих ехать в Израиль, помощи, которую им пока что оказывают еврейские организации.

Однако зададимся вопросом: разве прекращение этой помощи будет выглядеть справедливо с общечеловеческой и даже еврейской точек зрения? Не говоря уже о том, что это — верный путь превратить Израиль в постылую страну в глазах новых эмигрантов.

Так вот, вместо того, чтобы непрестанно обрушиваться на этих людей, не лучше ли постараться обстоятельно разобратся в проблеме?

Если мы хотим кратко ответить на этот вопрос, то, наверно, должны сказать прежде всего, что главная причина отсева /"неширы"/ в нас самих — "меа кульпа", причина в том, что Израиль утратил свою притягательную силу. Тот духовный подъем, который мы наблюдали после победы в Шестидневной войне, исчерпал себя, и это прежде всего потому, что Израиль и по сей день не знает, что делать с этой победой.

Почему так возрос отсев среди эмигрантов из России, достигнув двух третей от числа всех выезжающих, тогда как до 1973 года этот отсев составлял лишь мизерный процент? В какой-то степени это можно объяснить войной и экономическими трудностями, но главное все-таки не в этом. Ведь и до 1973 года существовала военная опасность, возникали то одна, то другая экономические проблемы.

Дело в том, что еврейское государство перестало быть идеалом для тех, кого оно зовет. Если в помине нет атмосферы братского приема новоприбывших, чего нам ждать хорошего от их отношения к Израилю? Люди обращают свои взоры к другим, экономически более развитым странам. Странам с более высокой культурой и более высоким, я бы сказал, качеством жизни. Тлеющий в среде советского еврейства сионизм, не более, чем тонкая струйка в общем потоке еврейского исхода из России, мало что может изменить.

Сионизм советских евреев был последним, самым поздним взлетом сионизма как идеи в современном еврейском мире, но и он разбился о скалу действительности. Его трагедия заключается в том, что он пришел слишком поздно, когда с созданием еврейского государства идея сионизма выдохлась, и, следовательно, той же участи не мог избежать и сионизм евреев в СССР.

Государство — это воплощение идеи, но не сама идея.

Государству можно предъявлять требования, идее можно только служить. Но где уж тут разобраться в этих различиях.

ях новым эмигрантам, прибывающим в современный Израиль — государство, пронизанное до мозга костей узким материальным расчетом и политическим прагматизмом. Отсюда — и плохие письма в Россию, и массовый неизбежный отсев.

Говорят, что советские евреи не едут в Израиль потому, что они утратили связь с еврейской культурой и образованием. Но опять же возникает вопрос: в этом ли причина "неширы"? Известно, что по доброй воле в массе своей евреи никогда не ехали в Страну Обетованную.

Свыше двух с половиной миллионов человек эмигрировали из России с 1880 по 1914 годы, но только 70 тысяч человек приехали в Палестину. Почему же так было и почему, увы, так продолжается до сих пор?

МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ

Я не открою секрета, если скажу, что в Палестину ехали, главным образом, идеалисты. И круг этих людей был достаточно узок. Вот как об этом пишет историк Яков Кац в своей книге "Еврейское национальное движение": "Добровольного исхода из какой-либо страны, как надеялся Герцль, не произошло. В решающий момент, когда уже было создано ядро нации, движение евреев, как это ни странно, не способствовало решению еврейского вопроса".

Переход от мечты к реальности был самым слабым местом сионизма: евреи, в массе своей, сочувствовали ему, но всегда избегали переселения в Палестину. Бело-голубая мечта — да, палестинская реальность — нет. Так образовалось это противоречие между мечтой и реальностью, ставшей характерной чертой сионизма, можно сказать, его внутренней закономерностью.

Берл Кацнельсон, духовный вождь рабочего движения в Палестине, подчеркивая это противоречие, не останавливался перед далеко идущим выводом: "Нечего удивляться тому, что сионизм несет в себе зерно отчаяния из-за постоянного противоречия между его стремлением и его возможностями".

Ту же картину мы увидим, если обратимся к современности: евреи Америки — их там около 6 миллионов — так же, как евреи европейских стран, в Израиль не переселяются. Стоит ли удивляться тому, что советские евреи следуют их примеру? Однако и это еще не все. Печальная истина состоит в том, что все более развивается эмиграция из Израиля, широко охватившая людей, родившихся в этой стране и получивших здесь воспитание. По имеющимся сведениям, сегодня 250 - 300 тысяч израильтян живут в Америке. В чем причина? Я не думаю, что кто-то способен дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, однако нужно отметить — и, возможно, это будет откровением для непосвященных — следующий исторический факт: еврейская диаспора началась не с изгнанием евреев из Палестины, она существовала задолго до этого. Сесиль Рот в своей книге "История евреев" пишет, что "возможно, еще в библейскую эпоху древние евреи селились на периферии эллинского мира". Как известно, "еще с древних времен значительное количество евреев проживало в Александрии — крупнейшем торговом центре Средиземноморья". Общий вывод Сесилии Рот: "Возникновение диаспоры еврейского народа, даже если рассматривать проблему в европейском аспекте, относится к очень раннему периоду".

О чем это говорит? В еврейском народе борются две тенденции — национализм и универсализм, еврейский народ всегда оставался верным своим национальным традициям и в то же время он был самым восприимчивым народом к мировым влияниям, и в этом смысле — народом-космополитом. Сионизм, который поставил своей целью нормализовать его жизнь, сделать его подобным другим народам, не учел одного обстоятельства — как это ни странно звучит, он не учел исключительной самобытности евреев, которые всегда были "не как все народы"...

Эту истину познали на себе советские евреи, когда, спустя 30 лет после революции, уже казалось, что "несть эллина и несть иудея", вдруг обнаружили "безродные космополиты". Эту истину познали советские евреи теперь уже спустя более полувека после революции, когда начался их массовый исход

из России. Почему это происходит? Отчего евреи оставляют Россию навсегда? Не потому ли, что и по сей день они остаются чужими в этой стране, несмотря на то, что говорят на ее языке, связаны с ее культурой? Все это свидетельствует о том, что еврейский народ, где бы он ни находился, в какой бы социально-исторической и культурной обстановке ни жил, содержит в себе неразстворимые или, скажем, мало растворимые специфические духовные /а может, генетические — этого мы не знаем/ элементы, препятствующие его слиянию с другими народами.

Евреи — малый и одновременно великий народ, это то, что отличает их от других народов, поэтому так многозначительна их история и столь сильное, подчас мировое звучание приобретают их проблемы сегодня. И в этом, может быть, кроется причина того, почему столь тесной для них оказывается их страна, страна их предков, за которую они ведут беспримерно упорную войну.

Еврейский универсализм не укладывается в рамках страны Израиля и духовно и практически — столько интеллектуальных сил, не чрезмерны ли они для такой страны как Израиль? Конечно же, он кровно заинтересован в алии, от нее зависит его безопасность и его будущее, однако, увы, исключительный успех сионизма в среде евреев был успехом идеи, мечты, но не переселенческого дела.

Вот здесь мы сталкиваемся с более коренным вопросом: что представляет собой сионизм без алии или почти без алии? Или, что то же — что представляет собой сегодняшний постгосударственный сионизм? Первые годы после образования государства Израиль были годами большой, массовой эмиграции, но эта эмиграция была преимущественно из стран Ислама, и у этого явления были свои исключительные причины. Европейское же, а главное, американское еврейство оставалось на своих насиженных местах. Таким образом создавался самый большой из возможных парадоксов: сионизм победил, создано еврейское государство, а еврейский народ в своем большинстве остался в галуте, в странах рассеяния. И в этом опять же следует разобраться.

НЕ КАК ВСЕ НАРОДЫ

Еврейский народ, со времени своего изгнания, находится под перекрестным огнем: с одной стороны, его обвиняют в стремлении обособиться от других народов /"нация внутри нации"/, с другой стороны, его обвиняют в космополитизме /"народ без родины"/. Еще на заре эмансипации разгорелся этот спор — являются ли евреи нацией? Было очевидно, что этот парадоксальный народ не укладывался ни в какие конвенциональные рамки — не обладая национальной территорией, он в то же время представлял собой консолидированную этническую общность, существующую как бы и внутри и вне государств своего рассеяния. А это значит, что с самого начала он являлся нацией особого рода, "нация — не нация".

Французская революция провозгласила равноправие евреев, но не признала их национальных прав. Депутат национального собрания Клэрмон-Тонар заявил: "Еврейям как нации не следует давать ничего, евреям как людям надо дать все".

Значительно позже, сто лет спустя после Французской революции, в 1879 году, произошла бурная полемика между немецким историком фон Трейчке и еврейским историком Грецом. В этой полемике фон Трейчке очень точно сформулировал требования, предъявляемые его страной к евреям. Он так и писал: "Наше требование в отношении наших еврейских сограждан выглядит чрезвычайно просто — чтоб они были немцами, чтоб они чувствовали себя немцами, и это не должно затрагивать их веру и их традиции, которые мы уважаем. Однако мы не хотим, чтобы после тысячелетий существования немецкой культуры наступила эпоха смешанной, немецко-еврейской культуры". Впрочем, в противоречии с самим собой Трейчке продолжает: "Полное слияние еврейства с народами Запада не произойдет никогда. Можно только добиться смягчения противоречий, которые коренятся в древнейшей истории".

Как видим, вопрос о том, являются ли евреи нацией, никогда не был чисто академическим вопросом. Как в прошлом, так и теперь, евреи оказываются зажатými в клещи. Они должны перестать быть евреями, но их полное слияние, растворение среди других народов оказывается невозможным.

Многие видят источник сионизма в еврейском мессианстве, другие — в антисемитизме, но, похоже, что мы не ошибемся, если скажем, что первейшим источником сионизма было указанное нами выше внутреннее противоречие эмансипации. Именно оно, это противоречие эмансипации, поставило евреев перед тяжелой необходимостью самоотречения, потери своего национального облика и одновременно перед необходимостью самоутверждения, поскольку они постоянно наталкивались на замкнутость других народов.

В этом отношении примечателен путь, проделанный Генрихом Гейне. Он начал с того, что в молодости принял христианство, а на закате своей жизни не только чувствовал себя евреем, но в полном смысле слова стал апологетом национально-еврейского духа.

"Я не понимал, — пишет Гейне, — что, несмотря на враждебное отношение к искусству, Моисей был самым великим художником и обладал подлинно художественным духом, но этот художественный дух был у него, как и у его египетских соотечественников, обращен лишь на воплощение монументальных, грандиозных замыслов. Только он творил свои художественные создания не из кирпича и гранита, как египтяне, а воздвигал пирамиды из людей; он высекал человеческие обелиски, он взял бедное пастушеское племя и создал из него народ, которому также было дано пройти сквозь столетия великим, вечным, священным народом, Божьим народом, который мог служить всем прочим народам образцом и даже всему человечеству — прототипом: он создал Израиль!"

Пораженный величием Израиля, Гейне восклицает: "...Если бы всякая гордость происхождением не оборачивалась дурацкой несообразностью в характере борца за революцию, то пишущий эти строки мог бы гордиться тем, что предки его

принадлежали к благородному роду Израиля, что он — отпрыск тех мучеников, которые дали миру Бога и нравственность, и сражались, и страдали на всех боевых полях мысли".

Но Гейне не только воскуривает фимиам еврейству, он непрестанно размышляет и размышляя приходит к выводу: "Подвиги евреев так же мало известны миру, как их подлинная сущность. Люди думают, что знают их, потому что видели их бороды, но ничего больше им так и не открылось, и так же, как в средние века, евреи и по сей день остаются для мира бродячей тайной". Вот именно: б р о д я ч а я т а й н а. "Она раскроется, вероятно, в тот день, о котором сказано пророком, что будет тогда единый пастырь, и единое стадо, и праведник, страдавший за спасение человечества, удостоится высокого признания".

Попытка разгадать эту "бродячую тайну" связана с признанием того, что евреи сохранились как народ не вопреки истории, а благодаря истории. В ней, в истории, следует искать истоки глубокого своеобразия еврейского народа, неизменно представавшего перед другими народами как непознаваемая загадка и тайна.

Евреи, лишенные своей страны, своей материальной базы, перенесли центр тяжести всей своей жизни в духовную сферу и превратили свои этнические данные в моральные ценности. Национальное сознание, сознание своей избранности, вероятно, компенсировало отсутствие собственной страны. Возникшее на заре истории сознание оказалось эффективным оружием самозащиты в пору горьких испытаний.

Говоря о сионизме, мы указывали на противоречия эмансипации как важнейший источник его возникновения, а позже — его неразрешимых противоречий. К этому следует прибавить обостренное национальное сознание, которое облекалось в религиозную оболочку. Многие народы кочевали из страны в страну, но, в конце концов, обретали родину. Не так был путь еврейского народа. Рассеявшись по миру, он не сменил свою страну на другую и остался навеки духовно связанным со страной своих предков, оставаясь чужим во всякой другой стране.

Мы уже говорили о внутреннем противоречии сионизма, стремившегося превратить евреев в такой же народ как все, в то время как по природе своей он — "не как все народы".

Еврейский историк Гершам Шолем рассказывает в своей книге /"О смысле вещей", 1975/, как однажды к нему, в Иерусалиме, пришел известный американский поэт Эллан Гинзбург. В ответ на вопрос, почему он не переселяется в Израиль, Э. Гинзбург ответил: "Ведь весь ваш идеал — это создать здесь новый Бронкс. Всю свою жизнь я убегаю из Бронкса, и вот, приезжаю в Еврейское государство и убеждаюсь, что главный идеал сионистов — это построить здесь колоссальный Бронкс". И Шолем так заключает свой рассказ: "Мы сказали ему — может, ты ошибаешься... Но, право же, что-то было в его словах".

Этот диалог имеет непосредственное отношение к вопросу — быть ли евреям как все народы. "Нет никакой причины, — говорит Гершам Шолем, — для того, чтобы евреи существовали, как сербы". Не надо думать, что в этих словах есть какой-то намек на национальное высокомерие и превосходство. Нет, здесь беспокойство за национальную самобытность евреев, которые, как призрак, бродят по миру, будучи одновременно и внутри истории и вне ее. Не только Гейне писал о "бродячей тайне". — Пушкин выразил то же самое, хотя и в несколько иной форме: "Кто сей народ? И что их сила, и кто их вождь, и отчего сердца их дерзость воспалила, и их надежды на кого?"

СИОНИЗМ И ПОСТСИОНИЗМ

Мы не раз являлись свидетелями того, как исторический процесс приводил совсем к другим результатам, чем те, которых ожидали стоящие у его истоков. Здесь действует, по-видимому, гегелевская ирония, так сказать, хитрость истории. Европейские гуманистические идеи марксизма были занесены ветрами истории на русскую почву и дали столь же оригинальный, сколь и ядовитый плод: симбиоз социализма с азиатчиной, крепостничеством и деспотизмом.

Иное произошло с сионизмом, но, увы, и здесь мы наблюдаем все ту же хитрость истории. С момента возникновения политического сионизма Герцля, в качестве его главного оппонента выступил Ахад-Гаам, полностью отрицавший саму возможность разрешения сионизмом еврейского вопроса. В статье "Еврейское государство и еврейская нужда" и во многих других Ахад-Гаам доказывал утопичность политического сионизма: еврейский вопрос в странах рассеяния может быть разрешен только путем массовой эмиграции, но последнее — невозможно. Даже если будет создано государство, лишь малая часть евреев сможет переселиться туда. Поэтому Ахад-Гаам выдвинул идею духовного сионизма — разрешение не еврейской проблемы, как писал он, а проблемы еврейства.

В результате, в жизни возник оригинальный симбиоз, но не положительный, а отрицательный, между политическим и духовным сионизмом: цель политического, интегрального сионизма так и не достигнута, еврейский вопрос — не разрешен, еврейский народ, в своем подавляющем большинстве (80%) так и остался в странах диаспоры, но и духовный сионизм осуществлен не был.

Созданный в Израиле еврейский национальный центр менее всего может служить духовным центром, его духовные и моральные качества не выше, а может быть, и ниже тех, которые мы наблюдаем в еврейских центрах диаспоры. Что же касается классического сионизма Герцля, Нордау, Сиркина, Борохова, то этот сионизм, по существу, умер и теперь уже принадлежит прошлому. Но крот истории упорно роет, прокладывая пути для нового еврейского самоутверждения. Каким оно будет?

19 век был лабораторией идей, 20 век был веком свершений, кузницей действия. Что готовит нам грядущее столетие? За 50 лет до создания Еврейского государства прозвучал трубный глас, и еврейские массы стали под развернутое бело-голубое знамя. Никто не мог предвидеть, что путь от идеи к ее свершению окажется столь тернистым. Однако спросим себя: почему сионизму не удалось добиться осуществления своей цели — разрешения еврейского вопроса, ликвидации

диаспоры, хотя и удалось создать небольшое еврейское государство, занимающее часть Палестины? Кажется, объяснение этому дают две основные причины. Первая — в самой национальной природе еврейского народа, народа-кочевника, готового неизменно провозглашать "В будущем году — в Иерусалиме!", но не желающего переселяться в страну своих предков. Вторая причина — в исторической запоздалости сионизма, оказавшегося перед лицом уже объединенного арабского национального движения.

Впрочем, есть тут и еще один вопрос, обойдя который трудно до конца понять, отчего политический сионизм переживает сегодня такие потрясения. Речь идет об отношении к переселению евреев и, следовательно, к идее политического сионизма в самом Израиле. То, что Израиль осознает себя как духовный центр мирового еврейства, то, что об этом так много сказано и написано, заставляет нас лишь глубже задуматься над вопросом: отчего реальная ситуация с алией находится в столь глубоком противоречии с идеологическими постулатами и лозунгами?

Стало общим местом обличать бездушных израильских чиновников, погубивших алию из Советского Союза. Но обличать только чиновников /которых, кстати, давно уже можно было бы сменить/ — значит так и не выйти за рамки следствий куда более глубокого явления. Дело в том, что в стране все более ощущается опасная тенденция рассматривать Еврейское государство как политически-замкнутый, самодовлеющий организм, самодовлеющую ценность, по отношению к которой алия — одна из многих и, может быть, даже не первостепенных функций. Есть экономическая, есть социально-культурная, есть полицейская функция, а есть алия и абсорбция.

От экономического кризиса, от инфляции тяжело страдает все общество. А от провалов с алией? Конечно, и они не проходят бесследно — страдает престиж Израиля в еврейском мире. Но престиж все-таки не инфляция, не безудержный рост цен, не катастрофический долларový дефицит. С престижем в столь трудное время можно и перебиться, как можно

перебиться до лучших времен с алией и абсорбцией. Обо всем этом не принято говорить вслух, не принято писать в газетах. Но эта точка зрения, как молчаливая презумпция, прочно укоренилась в сознании тех, кто вырабатывает государственный и политический курс страны и кто в своем отношении к алии уверен в собственной правоте: перед лицом опасностей, нависших над Израилем, мало что стоит все остальное...

Возвращаясь к вопросу о перспективах развития, надо помнить — и это доказала история сионизма, — что не идеалистические стимулы вызывают к жизни массовую эмиграцию, последняя всегда была результатом причин катастрофического характера. Так было всегда. Катастрофы вызывали массовую алию. Никто не может поручиться за будущее развитие, но не поставит ли оно снова евреев перед необходимостью оставлять насиженные места, и тут мы оказываемся в некоем моральном тупике: катастрофы, как я сказал уже, вызывают массовую алию, и, следовательно, способствуют расширению Израиля. Но оправдана ли ориентация на катастрофическое развитие еврейской истории? Не поставит ли оно в опасность не только евреев диаспоры, но и само государство Израиль? Разумеется, Израиль заинтересован в широкой иммиграции, чтобы, по крайней мере, удвоить свое население и укрепить свою национальную безопасность, но будем смотреть фактам в глаза: даже самая большая алия не изменит ни природы, ни положения еврейского народа как народа рассеяния. И хотя Израиль будет его национальным центром, он был и останется народом универсальным, преимущественно, народом духа, народом мировых космополитических горизонтов, и в то же время народом двойственным, усваивающем не только свой язык и культуру, но и языки и культуру народов, в среде которых евреи живут.

Иногда спрашивают: жизнеспособно ли государство Израиль, находящееся в кольце изоляции, испытывающее тягчайший экономический пресс? И не менее часто спрашивают, есть ли у евреев будущее в диаспоре? Не растворятся ли они в конце концов под прессом ассимиляции? Нет никаких оснований хоронить народ, доказавший уникальную жизнеспособность.

собность и за много веков изгнания и теперь, в рамках своего национального государства.

Однако совсем иная судьба у сионизма. Образование Еврейского государства было его кульминацией и началом его упадка: политический сионизм растворился в еврейском народе и, пережив, при создании государства, свою последнюю метаморфозу, превратился в не более, чем движение солидарности с ним. Однако идейный сионизм выдохся. Потеряв польское еврейство, которое некогда служило его базой как национально-освободительного движения, другой базы он не обрел. Американское еврейство, о котором мы сегодня так много говорим, его базой в этом смысле не является и вряд ли когда-нибудь станет.

Таков исторический итог. Сионизм как идея и как движение исчерпал себя. Новая эпоха в сионизме — государственственный сионизм — это уже эпоха постсионизма, это уже другой этап в еврейской истории.



Мира БЛИНКОВА

КТО БУДЕТ ЗАВЕДОВАТЬ КАФЕДРОЙ?

О повести И. Грековой "Кафедра"

Отношения литературы с официальным миром в современной России складываются разнообразно, сложно и, с первого взгляда, подчас непонятно. Почему, скажем, пишущим о деревне разрешается рассказывать вполне нелицеприятно о трагедии русского крестьянства и при этом их обласкивают похвальными рецензиями и обогащают массовыми тиражами? Правда, при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что острые углы их произведений тщательно обходятся и авторов в конце концов просто ловко выдают за "своих". Но иногда случается, что перемахнет через редакционные заборы и колючую проволоку главлита произведение "городской" прозы, нарушающее привычные оценочные нормы. Вот тогда-то и можно проследить, как нарочито снижается критикой и репутация писателя, и нравственно-эстетическое значение его творчества. Для этого умело используется и "общественное мнение" — активность читателей, не обладающих вкусом, но самоуверенно предъявляющих к литературе свои требования.

Такого рода объединенными усилиями делались попытки создать писательскую репутацию и И. Грековой, вступившей в литературу в начале шестидесятых годов: "Та, что пишет о парикмахерах... о соседке тете Поле... о разведенных женах..." — бытописание, дамское рукоделие...

Советское общество высокомерно и кастово. Слова "элитарность", "престижность" стали расхожими в разговорах и подразумеваются в общественных оценках. Должность парикмахера /"Дамский мастер"/ не престижна. Стало быть, создавать о нем, о его творческих поисках художественное произведение неуважительно по отношению к литературе. Сурового читателя и его "друга-критика" не поколебало в их неприятии этой повести даже ее завершение — уход героя на завод. А В. Лакшин, вступившийся в свое время за это произведение, не раскрыл в нем никаких достоинств, кроме привлекательного жизненного правдоподобия.

Но критика надо понять: не мог же он защищать повесть, раскрывая ее истинное содержание — гибель, самоубийство мастера, трагическое несоответствие творческого начала в человеке реальным обстоятельствам его жизни.

Грековой ставится в вину общественная незначительность ее героев, мизерность их интересов, — как начались эти толки после выхода "Дамского мастера" /1963 год/, так и продолжают по сей день, сопровождая путь писательницы от одного произведения к другому. Не миновала этой участи и последняя ее повесть — "Кафедра" /"Новый мир", 1978, № 9/.

Антипатия "общественности" к этому произведению объяснима, и я бы сказала, неизбежна: в нем с наибольшей определенностью обозначен только И. Грековой присущий критерий подлинной ценности человека.

И. Грекова пришла в литературу, начав профессиональный путь в совершенно иной сфере. В отличие от большинства писателей, она не рассталась с делом, которое, надо полагать, для нее — главное. Она — крупный ученый, автор нескольких фундаментальных работ в одной из самых "не женских" областей точных наук. Думаю, что не будет читательским проситоушием счесть за авторское признание профессора Ковале-

вой из "Дамского мастера", сделанное после решения ею научной задачи:

"Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить: ничто, ни любовь, ни материнство — словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты".

За последние два-три десятилетия художественная литература приняла в свои ряды несколько талантливых писателей, оставивших ради нее свои прежние специальности. Когда-то был инженером Сергей Антонов, врачом — Василий Аксенов, архитектором — Андрей Вознесенский, горным инженером — Андрей Битов, физиком — Рустам Ибрагимбеков. Одни из них ушли в своем творчестве далеко от той среды, с которой были связаны долитературным жизненным опытом, другие черпают материал для своих творческих раздумий из оставшейся им близкой "той жизни".

Необъявленной, но прочно утвердившейся советской сословности И. Грекова противопоставляет свою, основанную на причастности человека к духовному, творческому миру, — тому, с которым неразрывно связана сама. Люди у Грековой делятся, и притом довольно резко, на два психологически несовместимых сословия — отмеченных даром и бездарных, пошлых. Близость людей этих двух пластов может быть лишь чисто территориальной: "Если два вектора ортогональны, то их проекция друг на друга равна нулю" /"Дамский мастер"/. Принцип этой ортогональности, внутренней несовместимости проходит основным нервом сквозь плоть произведений И. Грековой, направляя маршрут сюжета, отношения между персонажами, определяя всю этическую тональность произведения.

Итак, герой И. Грековой — талантливый человек. Предмет ее тревоги — его роль в обществе. Каково ему в современном окружении — человеческом, вещном, звуковом? Как соотносится его внутренний мир с тем внешним, зависимость от которого многогранна и неотвратима? Чем грозит интервенция в творческое сообщество бездуховной, ортогональной к нему силы? Эти вопросы стоят почти во всех произведениях И. Грековой. В повести "Кафедра" они звучат

особенно интенсивно, определяя, по существу, ее центральный конфликт.

И. Грекова чуждается расхожих в советской словесности терминов. Но одно слово этого обихода она употребляет часто и уважительно, вернув ему первоначальный смысл — коллектив, и ее отношение к каждому из героев в конце концов определяется его "уместностью" в коллективе.

По мере развития событий в повести "Кафедра", все более отчетливо проясняется ситуация, не слишком оптимистическая: кафедра, с которой нас знакомят — маленький, чудом сохранившийся островок, своего рода заповедник доверительности и дружелюбия, без которых, немислима творческая деятельность.

В заповедниках, как известно, стараются продлить век вымирающих животных, с людьми же как раз наоборот. Чем достойней, чем меньше проникнут эгоизмом и приспособляемостью человек, тем меньше надежды на его социальное выживание.

Чудом, благодаря которому был продлен век этого островка — кафедры — был ее руководитель, известный ученый, профессор Николай Николаевич Энен. Он — настоящий русский интеллигент. Высокая нравственность и духовность этого пожилого, физически немощного человека позволяют кафедре жить полнокровной жизнью научно-педагогического коллектива. Закупорилась главная артерия, и остановилась эта жизнь. Энен первый пал жертвой тех "иногородных", чья власть повсеместна и несокрушима. При всей своей духовной стойкости, умении понимать и прощать, он не справился с унижением, которому его подвергли. Знаменательно, что те, кто это проделал, вовсе не собирались нанести ему смертельное оскорбление — они просто действовали сообразно своим нормам формализма и хамства. Ничего особенного, с их точки зрения, нет в том, чтобы послать старому больному человеку, ученому с мировым именем, канцелярский приказ: "Немедленно отчитаться в причинах низкой успеваемости студентов" и сопроводить этот приказ опять же обычной с их точки зрения припиской: "В

противном случае будут приняты меры..." Для Энена, между тем, окончательно проясняется, кто распоряжается его жизнью: "В старые времена такой субъект приказал бы выпороть меня на конюшне".

...Поиски корней, истоков, осознание ущербности жизни без почвы, — довольно частый мотив в советской литературе последних лет. Он звучит в творчестве писателей различных направлений, в несхожих сюжетах, иногда почти декларативно /у Ю. Трифонова, у некоторых писателей "деревенского жанра"/, иногда — за текстом, с меньшей долей четкости — /например, у А. Битова, у Б. Окуджавы/.

Писатель /я имею в виду настоящую литературу, а не массовую, ширпотребную/ стремится определить место современного человека в судьбе его рода, понять истоки формирования его нравственного и психологического склада. Эта цель одним своим появлением объявляет протест против казенных заклинаний о благотворном воздействии строя на всех своих подданных.

Между тем, мы-то знаем, что официальная жизнь предлагала иные пути поисков родословной: конец тридцатых — возрождается понятие Родины; период Отечественной войны — "пью за великий русский народ"; затем подготовка кампании "борьба с космополитизмом"...

Меньше известно, надо думать, что с конца сороковых годов русские архивы были завалены просьбами от людей с сомнительными фамилиями выдать им свидетельства об их принадлежности к русскому дворянству /как правило, пожалованному их далекому голландскому, шведскому, французскому предку/. Любой титул, любые заслуги перед империей, лишь бы не подозрение в еврейском происхождении. Руководители учреждений не всегда были сильны в ономалогии, и любая не совсем привычно звучащая фамилия могла поставить человека под удар.

И. Грекова в повести "На испытаниях" /1967/ недоумевает по поводу этих неожиданных поворотов: в двадцать первом году человека за дворянское происхождение выгнали из университета, а через 31 год оставили его в покое, получив

свидетельство о его принадлежности к русскому дворянству.*

Энена не травили "за происхождение", его отец в соответствующей графе числился, наверное, "служащим", потому что был учителем, директором гимназии, но в воспоминаниях ученого о детстве достаточно уязвимых мест. И не только из-за любовного описания религиозных праздников и всей патриархально-дворянской интеллигентной атмосферы дома, безвозвратно утраченной в периоды острых социальных катаклизмов. И. Грекова ведет эту часть повествования в двух временных пластах — прошлое просматривается еще более четко и прочувствованно с высоты многолетнего житейского опыта, в непрерывном сопоставлении с настоящим.

Оказывается: из жизни ушло чрезвычайно много того, что создавало настрой высокой духовности, внутреннюю гармонию и навсегда снабжало человека чутким нравственным камертоном.

Оказывается: обездоленность человека нашего времени начинается с того, что он лишен воспитания, которое приобретает постоянным и доверительным общением с родителями.

Душевного запаса, который получил в детстве Энен, хватило на весь его дальнейший путь. Поэтому в старости он мужественно и с достоинством справляется со своими трагическими утратами — близких, друзей, физических сил и главного своего сокровища — могучего таланта. Убыль жизни как бы компенсируется в его мироощущении страстным ее приятием, нежностью и интересом ко всем ее проявлениям. "В сущности, я счастлив", — решает он. Каждый человек рядом вызывает у него живое и доброе любопытство, стремление принять участие в его судьбе. "Люблю — значит живу" —

* Не могу удержаться, чтобы не рассказать о случае, мне хорошо известном. В те годы в штат Института истории Академии Наук СССР был принят талантливый молодой специалист — член КПСС, инвалид Отечественной войны — лишь после того, как представил справку о крещении. Его фамилия оказалась замдиректора института подозрительной. Замдиректора института истории был не очень силен в истории: эта фамилия принадлежит одному из самых древних дворянских, еще боярских родов России.

так мог бы он сформулировать свой жизненный принцип.

Но жизнь и время не отвечают ему взаимностью. Его любовь игнорируют или корыстно и цинично злоупотребляют ею. Он и это принимает, хотя долго ломает себе голову, стараясь понять целесообразность /ученый — он по привычке ищет ее во всем/ обмана. В конце концов догадывается: правдивость — "результат воспитания строгого, традиционного, с детства вколотившего в сознание заповедь "не лги". Этой традиции больше нет, как нет семейного чтения вслух, как нет способа уйти от грохота телевизора в собственной квартире, от "нечувствия", от тоски по "сочеловеку", от повсеместно узаконенных фикций, от власти "инопородных".

Со смертью Энена начинается собственно конфликт произведения — борьба за сохранение заповедника — кафедры. Место освободилось для того администратора, которого выдвигают и продвигают, стало быть, и заповедное отличие кафедры обречено. Но И. Грекова не согласна идти на поводу у такого, по жизненной подсказке, простейшего решения. Она ставит эксперимент — пробует на этой должности человека незаурядного и не до конца удовлетворяющего тем нормам, которые предъявляются продвигаемым. Дотошный, трудолюбивый в вопросах научной критики, настолько щепетильный в вопросах научной честности, что перед этим отступали соображения престижа и личных антипатий, — таков был преемник Энена. И тем не менее жизнь на кафедре под его руководством тускнела. Разрешу себе здесь небольшое отступление. В институте, где я работала, мы часто старались представить себе, кем были бы некоторые из наших ведущих сотрудников, если бы не события 1917 года.

Догадки были разнообразными: скажем, заведующий сектором новейшей истории, служа на флоте, дослужился бы до боцмана; ответственный редактор одного из периодических изданий сперва виделся нам живым Боярским из бабелевского "Заката", но, познакомившись с ним поближе, убедились, что с конфекционным в Одессе он бы не справился, а хозяином керосиновой лавки на окраине Белой Церкви

был бы вполне на месте. Красавица Р., успешно делающая /несмотря на малограмотность/ научную карьеру, была бы дорогой проституткой, а войдя в зрелые годы, содержала бы респектабельный публичный дом. Были у нас и несостоявшиеся пономари, и штатные сотрудники III отделения, и купцы-охотнорядцы и горлопанки-курсистки. Были и историки от Бога, только при других обстоятельствах писали бы совсем иначе...

Познакомившись с преемником покойного Энена, я по старой привычке задумалась, кем бы он был, если бы не... Сразу стало ясно — казначеем. Высококвалифицированным, щепетильно честным казначеем солидной компании. Все документы и отчетности были бы у него в идеальном порядке, сотрудники ходили бы по струнке.

Какой волной прибило этого человека к науке, которая давалась ему ценой нечеловеческого напряжения? Неужели — соображениями финансовыми?

В конце сороковых годов резким повышением зарплаты научным работникам с ученой степенью был нанесен серьезный удар по науке. В нее устремились люди, никакого отношения к ней не имеющие, но хорошо ориентирующиеся в практической ситуации. Быть "остепененным" оказалось не только почетным, но и удобным и выгодным.

Но Флягин, новый завкафедрой, не похож на научного карьериста современной меркантильной формации. Скорее, он вызывает ассоциации с образом бедного рыцаря науки, которого влечет к ней бескорыстно и безответно... Недостаток способностей он еще мог бы компенсировать своим фантастическим трудолюбием и целеустремленностью, но, для руководства педагогическим и творческим коллективом он, по нормам И. Грековой, профессионально непригоден. Отсутствие в его натуре дара доверительного общения, а также любви к тем, кого он учит и с кем работает, обуславливают его ортогональность этому содружеству. Потому он делается непереносим для тех, кто воспитан в эненовской школе — борьба против него приобретает для них жизненно важный смысл.

Образ такого содержания появляется у И. Грековой впервые: до сих пор "инопородные" не играли сколько-нибудь значительной роли в судьбе научного коллектива.

Поражение Флягина, добровольно отказавшегося от руководства кафедрой, дает нам нравственное удовлетворение, но не дает спокойствия: его уход — следствие не объективных обстоятельств, а исключительно его субъективной порядочности. То есть случай феноменальный, чрезвычайный, нехарактерный.

Общественное признание руководителя флягинского толка получило в начале семидесятых годов своего рода подтверждение в пьесе И. Дворецкого "Человек со стороны". Ее центральный образ трактовался многими едва ли не как открытие эпохального масштаба. Имя инженера Чешкова приобрело нарицательное значение: всесокрушающая деловитость, ломающая все установленные нормы — и технические, и человеческого общения, — ради успеха производства. По моему разумению, пьеса И. Дворецкого объявила нормой то, что было утверждено жизнью, но, естественно, стыдливо замалчивалось: несостоятельность принципов гуманности, пренебрежение всей сферой человеческих эмоций. Сам же Чешков имел многочисленных предшественников в жизни и в литературе, провозглашавших принцип "нечувствия", начиная с эпохи "кожаных курток" — так что существенного открытия в этом образе нет.

Я не уверена, что И. Грековой руководили соображения литературно-полемического характера, но в восприятии читателя образ нового заведующего кафедрой не может не совместиться с популярной фигурой Чешкова. Добровольный уход Флягина — безнадежное приглашение писательницы последовать его примеру администраторам чешковского склада, да только хватит ли у них на это порядочности?

Произведения И. Грековой не отличаются ни сюжетной изобретательностью, ни формальными находками. На фоне филиграннейшей обработки "магического кристалла", которым славятся многие современные русские прозаики, ее манера может показаться вызывающе непритязательной. Без

особой выдумки рассказывается об одном действующем лице произведения, затем о другом, затем о третьем... Для рассказа о прошлом героя используется старый нехитрый прием — воспоминания, дневники. О волнующих автора проблемах — постановке высшего образования в стране, о труде вузовской профессуры, об особенностях научной и педагогической среды рассказано в лоб — или непосредственно от автора, или героями, излагающими свои соображения профессионально и деловито /эти пассажи "Кафедры" дали повод рецензентам обрушиться на повесть с выговорами за "публицистичность"/. Но в одной сфере повествования И. Грекова виртуозна: удивительно естественны сочетания характеров в ее повестях, их взаимные притяжения и отталкивания, внутреннее слияние в одном, противоположность — в другом. У нас уже шла речь о том, что особая забота автора — найти соотношение одаренности человека и тех жизненных обстоятельств, которые сформировали его. Вариантов здесь множество, — столько, сколько индивидуальностей в произведении.

По характеру этой соотнесенности прямым антиподом Энену является его любимая ученица, талантливый ученый, Нина Асташева. Немного о ее жизни. Детство: сирота, росла у тетки "из милости", затем — ни прочного семейного счастья, ни нормального быта, а растила трех мальчишек. Всю жизнь приходилось преодолевать трудности, вся жизнь — наперекор обстоятельствам. Выработалась отвага, как циркачи говорят — кураж. Ни в чем не шла на уступки, не боялась ни начальства, ни где угодно настаивать на своем. Такой она и предстает перед людьми — резкой, самостоятельной, самоуверенной. И, надо полагать, никто не поверил бы, что, оставшись наедине с собой, она казнит себя постоянно и почти по поводу всего, что делает. Не поверили бы и в то, что в ней постоянно живет страх — "чего-то нависшего, подстерегающего". Что ее натура полна внутренних противоречий, глубокого покоя.

И. Грекова пишет не о тех, кто пережил трагедию непризнания или преследования. Ее герои великолепно устроены

в жизни: работают по призванию, способности их реализованы, должности престижные и перспективные.

Отчего же страх?

Он был легко объясним в 1952 году, когда происходило действие повести "На испытаниях". Тогда опасность была конкретной: у генерала Сиверса из-за его нерусской фамилии, у генерала Гиндина — понятно из-за чего. Сиверс, стесняясь своего страха, пытался маскировать его излишне витиеватой и опасной говорливостью. Страдал от этого, хотел и не умел быть простым.

Борясь с чем-то в себе, человек не может не нести потерь, не может сохранить цельность. Заносчивость Нины — тоже следствие преодоления не только реальных трудностей, но и этого подспудного страха. И. Грекова не утешает, не подбадривает, она лишь сокрушается, убеждаясь, что у человека нет собственного фонда, который помог бы ему сохранить в себе хотя бы внутренний лад, такой необходимый в неравной борьбе.

Но почему же все-таки — страх?

Ведь в повести не отмечены ни общественные катаклизмы, ни те страшные явления, которым писательница отдала дань в повести "На испытаниях"! Но как при этом безрадостен и тревожен окружающий мир, его порядок, введенный и постоянно укрепляемый "инопородными", как настойчиво вводят они свой стиль, свои правила и законы. Отдельные реплики-комментарии автора, отдельные высказывания героев воссоздают атмосферу, в которой людям надлежит жить по принципам:

"Поведение человека диктует не совесть, а объективная обстановка".

"Совесть, как учит жизнь, опора хрупкая, ненадежная".

"Вузовская жизнь, как и всякая другая, имеет две стороны: действительную и мнимую, реальную и бумажную".

"Невыполнимые требования, страшные тем, что развращают людей, приучают их к симуляции деятельности".

"Уроки жизни: хочешь не хочешь — лгать все равно приходится".

"Фикция порядка".

"Фикция проверки знаний".

"Фикция научных достижений"...

Потому — страх. Потому — непокой. Потому в жизни так много фальши и несправедливости. Потому грустны наши предчувствия насчет будущего одной из самых привлекательных, после Энена, личностей повести, студентки Аси Уманской, девушки редких способностей и еще более редкой самоотверженности. Начало ее жизни вызывает ассоциации со счастливым детством Энена: так же любовно взлелеяна одаренность в интеллигентной, согласной семье; и потому то же душевное здоровье, уравновешенность, помогающие справляться с различными обидами и трудностями. Возможно, кого-то и покоробит, что именно в скромной семье провинциальных еврейских педагогов /это мы за рубежом "русские", а там еврей — он и есть еврей/ продолжают высокие традиции русской интеллигенции. Что ж, придется смириться: И. Грекова относится к той подозрительной в глазах "черни" аристократии духа, для которой чувство национального и родового достоинства не имеет никакого соприкосновения с "этническим превосходством".

Чрезвычайно выразителен в этом смысле дуэт двух генералов /"На испытаниях"/ — гордящегося своей родословной, потомственного русского дворянина Сиверса и охотно подчеркивающего свое еврейство Гиндина. Искренняя сердечность их отношений, надо полагать, внесла свою лепту в настроенное отношение к повести.

А соседство в "Кафедре" талантливой и самоотверженной Аси и неспособной, недалекой Люды не бодрит, не радует. Никому ничего плохого Люда не сделала, но ее удачи вызывают смутный протест. И не только потому, что в них — победа посредственности и что в ней, в этой победе, есть своя закономерность, но еще и потому, что она была бы невозможна, если бы не бескорыстие, душевная широта того, кто был рядом и кому жизнь не сулит ничего радостного.

И. Грекова пишет не о тех, у кого еще есть какие-то социальные иллюзии, и не о тех, кто вступает в борьбу.

"— Чем мы, собственно говоря, живы?"

— Странный вопрос. Мы с вами или вообще?

— Мы с вами.

— Ну, работой. Скорее всего работой". /"На испытаниях"./

Социально-психологический статус этих людей В. Букровский определил так: "Служить надо вечному, создавать непреходящие ценности науки и культуры". Ценности они создают, но живет им все же нехорошо, неспокойно. И скорее всего, напрасно добилась Нина Асташева ухода Флягина. Кого-то им еще пришлют?

ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

ЗОНА ОТДЫХА

или

ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК НА РАЗМЫШЛЕНИЕ

"Было у тещи
Семеро зятьев.
Хомка сел,
И Пахомка сел,
И Гришка сел,
И Гаврюшка сел,
И Макарка сел,
И Захарка сел.
"Зятюшка Ванюшка,
Поди и ты сядь!"

*Трагикомическая повесть из российской жизни.
Иерусалим — 1979 год*

"Зону отдыха" можно приобрести в магазинах русской книги Израиля и других стран. Можно также приобрести у автора, прислав чек на 130 израильских лир /из-за границы — 6 долларов/ по адресу: Felix Kandel, Merkaz Klita, Mevasseret Zion 61a, Jerusalem, Israel



Д. ШТУРМАН

ТЕТРАДЬ НА СТОЛЕ

Моя жизнь не была ни спокойной, ни свободной, ни богатой, ни громкой. Она была трудной, со многими бедами, опасностями и утратами. И все-таки в самых неожиданных обстоятельствах, от самых близких людей я часто слышала: "Ты — счастливая". Эти слова были продиктованы не завистью, а желанием утешить и успокоить, напомнить, что несчастье не преобладает в моей судьбе.

У моей "счастливости" было несколько ликов. Говорю о них с суеверным страхом и троекратным стуком по дереву — чтобы не искусить судьбу, не прогневить, не сглазить. Один из ликов — фамильное, по материнской линии, везение, позволившее ей несколько раз провести детей по узкой жердочке над бездонной пропастью и не дать им погибнуть. Я прошу силу, которая проводит по краю пропасти, чтобы внукам и правнукам моей матери это фамильное везение не изменило. Второй лик моего везения более светел, и о нем можно говорить, не искушая судьбы. Мне везет в людях. Поэтому жизнь моя проникнута, окружена и заполнена счастливой

дружбой, составившей самую сердцевину общего бытия целого круга людей. При многих прочных и долгих дружбах я пережила считанные ошибки в людях. В значительной мере и это везение — от матери. Третий лик моего везения — очень раннее: в детстве, в отрочестве — обнаружение тех вопросов, которые оставались главными для меня всю жизнь. Устойчивая, с десяти — пятнадцати лет, прикованность к тому, чем я живу по сей день, позволила мне застраховаться от внутренней безработицы.

Без рокового опоздания исчезли бесплодные измерения уровня собственной заурядности или незаурядности. Призвание более или менее своевременно оказалось важнее признания. Проклятие эгоцентризма коснулось меня в отрочестве, как всех подростков, но отступило перед неотвязно овладевшими умом и душой вопросами жизни, которые стали затем и профессиональными моими задачами.

1.

Я не могу утверждать, что меня осудили несправедливо. Конечно, к моменту своего ареста и осуждения /1944 год/ я ни в каком заговоре против советской власти и коммунизма не состояла. Более того: я была, вероятно, куда более ортодоксальной и пламенной коммунисткой, чем мои следователи и судьи.

Но я не считаю, что для советской власти и коммунистической партии было бы полезнее нас в тюрьму не сажать.

Пожалуй, и срок отсидки они положили нам непростиительно, в их позиции, малый, и выпустили нас зря. Меня — во всяком случае, ибо мои однодельцы после освобождения с ними больше не воевали.

Для всех нас наше "дело" было естественным этапом работы ума и души, начавшейся в детстве. У мальчиков, помимо неодолимой тяги к постижению советского строя, ставшей одной из моих двух профессий, были и другие специальности. К ним они и вернулись, освободившись. Но отпустить из лагеря полуживой и меня — значило поставить повзрослевшего человека на следующую ступень этой работы.

Преподавание в школе /вторая моя профессия/ мне не мешало: оно открывало еще одну важнейшую сторону жизни, как, впрочем, и тюремно-лагерная наша "командировка". Потому мне и нелегко выделить из линии своей жизни наше "дело", которое, словно узелок на веревке, содержит все нити моей судьбы, входящие в узел и выходящие из него.

Трудно судить о степени уникальности или, наоборот, типичности нашего "дела": кто занимался структурой каждой песчинки в лавине, состоявшей из миллионов песчинок? Даже "Архипелаг ГУЛаг" построен на нескольких сотнях свидетельств и документов, а не на сегодня еще немислимом рассмотрении миллионов неповторимых личных сюжетов, после которого можно бы их и систематизировать. "Наше дело" не было "дутым". Может показаться, что в этом и состоит его уникальность. Но я подозреваю, что "дел", с точки зрения советской власти, не "дутых", в цепной реакции шестидесятилетних репрессий больше, чем принято думать. Самосохранительная логика диктатуры не совпадает с логикой личности. Мы могли сколько угодно обижаться на первый следственный отдел НКВД КазССР, за то, что он квалифицировал нас как "подпольную антисоветскую группировку", в то время как мы не чувствовали себя ни заговорщиками, ни антисоветчиками, ни антикоммунистами. Но, как показали дальнейшие наши судьбы, со своей, а не с нашей точки зрения, НКВД действовал обоснованно.

Мы родились, учились, росли в советское время, нам было по двадцать лет, и среди нас, в нашем для всех открытом кругу, не было людей, принципиально не принимавших советского строя и коммунизма. Мыслящая Россия* лет нашего детства и отрочества переживала, помимо известных и неизвестных нам тогда ужасов, еще и могучий взлет разнообразных иллюзий, вспоминать которые она сегодня не любит. А вдруг то, что происходит, при всех его темных и загадочных сторонах, — это и есть путь к всеземному спасению? — Эта

* Я имею в виду всю территорию, исторически связанную своей причастностью к русской культуре и государственности, т. е. по меньшей мере /других районов не знаю/, европейскую часть СССР в границах 1920-1938 гг.

мысль очень долго связывала бесчисленные руки и языки и ограничивала поиски и выводы, в том числе и наши. А тем временем размножался Homo Sovieticus, лишенный как сомнений, так и иллюзий.

Наши родители тоже не только из страха за нас и за себя скрывали свои все нарастающие сомнения в оправданности происходящего. И у них долгое время, вопреки очевидности, не было абсолютной уверенности, что разум и сила ошиблись и тащат всех в пропасть. А без неколебимого сознания своей правоты можно ли было восставать на такие святыни, как равенство, справедливость, свобода? Без чувства, что это решительно необходимо, мыслимо ли было ставить детей на пути у такой беспощадной силы, как советская власть?

Нам покупали прекрасные книги прошлого, учили нас верить тому, что они проповедают, и этим надеялись застраховать нас от нравственного распада. А в нас возникало чувство преемственности между этими светлыми книгами, с одной стороны, и догмами, преподносимыми школой, новыми советскими книгами, фильмами, публицистикой, советской версией истории и современности — с другой. И все-таки вскоре после того, как ушел из жизни отец, мать нашла в себе мужество сказать двум детям: "Папа умер, чтобы не стать доносчиком. Запомните это". Умом мы, пожалуй, не могли бы тогда понять, почему нельзя работать "разведчиком" в пользу "наших": ведь "наши" — за всех "хороших", за свободу, за бедных, за справедливость! Мы верили в "наших". Но отцу и матери мы верили больше.

Мой следователь В. Д. Михайлов, невысокий, коренастый, крепенький, с лицом, каких легион /проведя у него в кабинете два с половиной месяца, я не запомнила его лица/, лишь один повод к недовольству советской властью считал объяснимым — обиду.

— Вот мне обижаться не на что. Я деревенский, а стал чекистом. У меня работа почетная, доверие партии, квартира. На что мне обижаться? Жену мою залечили до смерти врачи-вредители, когда мы сюда переехали. Молодую, здоровую — после второго сердечного приступа доканали. А партия и со-

ветская власть дали мне все. Мне сомневаться не в чем.

— А если бы они вас обидели, засомневались бы? — имела я глупость задать вопрос, как мне представлялось, неотразимый.

Но Василий Дмитриевич, капитан НКВД, "гражданин Михайлов", получивший позднее за нас майора, не оскорбился.

— На обиженного нельзя положиться, — продолжал он, пропустив мой вопрос мимо ушей. — У вас отец заболел психически и покончил с собой, а вы вообразили, что в этом советская власть виновата. Наши товарищи попросили уважаемого человека, врача, бывшего военного, помочь органам. Честь оказали. А он доверия органов испугался. Видно, была в нем какая-то червоточина, враждебность к нашей советской власти. На него надо обидеться, а вы рассердилась* на органы... У Рабиновича отец был матерым троцкистом, с Троцким в Алма-Ату приехал. Ликвидирован как неисправимый враг. А Рабинович не на него обиделся, как поступил бы всякий сознательный пионер, а на нас. Окна в органах камнями бил, когда мать в сумасшедшем доме лежала. Вылечили ее, не угробили, как мою жену. Члена семьи изменника родины бесплатно полгода от психоза лечили! И сына не осудили за разбитые стекла, пожалели: пацаном был. А он затаился... У Черкасского** отец — профессор, заслуженный деятель, но ведь и он с 37-го до 39-го сидел! Взяли в Киеве — выпустили в Алма-Ате. Тогда аукнулось — теперь откликнулось: тоже — обиди!..

Но я не считала примитивное чувство обиды главным источником наших сомнений и поисков. Истолковывая ему вполне добросовестно каждое слово отнятых у меня черновиков, я пыталась открыть перед капитаном Михайловым действительные корни наших исканий.

* До чего типично для "граждан Михайловых" это "вы рассердилась". Они только так и сопрягают вежливое "вы" со сказуемым: "вы взяли", "вы сказала"...

** Мой друг, однодедец и кузен Марк Черкасский пропал без вести в 1971 году, по дороге из Перми, где был он доцентом университета, к родным — в Киев. Три всесоюзных розыска /по требованию его покойной жены и еще живой матери/ не дали никаких результатов.

Часами, в основном по ночам /нас допрашивали с 11 ночи до 5 утра, в семь поднимали и днем спать не давали/, я рассказывала ему о своих впечатлениях 1932 — 1933 годов, читала и растолковывала наброски и дневники: он не мог понять ни моего дурного почерка, ни многих терминов, ни идей. Мне казалось, что, уловив мои побуждения и ход рассуждений, гражданин следователь не может с ними не согласиться. Или хотя бы перестанет расценивать их как преступные и отпустит нас по домам, чтобы возратить инцидент на почву университетской дискуссии, где ему и место. Наивно? Хуже того: глупо. Но психология наша была исторически тривиальной: в камере, наедине с собой, логические построения, которые готовишь для следователя, кажутся почему-то неотразимыми. На допросах тебя не бьют, с тобой разговаривают вежливо и даже благожелательно, делают вид, что в слова твои вдумываются... И возникает какая-то нелепая "эйфория доверия", какая-то противоестественная благодарность, растущая из надежды на способность тюремщика тебя понять, дурацкое представление, что и он — человек, а не болт машины... А может быть, это животное ликование тела, извлеченного от страха пытки, затягивает тебя в сюрреалистическое существование, в котором нормальных связей и общепринятых мерок не существует? Ведь в тюрьме все ненормально — как ее дверь, которая есть, но в которую нельзя выйти. Вспомните, что писали Орвелл и Кестлер об этой противоестественной эйфории доверия и благодарности мучителям.

Я пробовала убедить Михайлова, что именно страх поддаться обиде заставлял нас, всех троих, абстрагироваться от судеб наших отцов. Мы жаждали быть объективными, поэтому, потрясаемые злобой дня, не имели, по собственному убеждению, права на пристрастность, на несправедливость, на боль за отцов.

И все-таки капитан-психолог был прав: началось если не с обиды, то с жалости. Сперва не к отцу, а к чужим, незнакомым детям. Жалость всегда была одним из самых острых, болезненных моих чувств. И это тоже — от родителей. И от

приготовленных ими для нас /еще до того, как мы научились читать/ книг. "Дон-Кихот" в переложении для детей, "Принц и нищий", "Отверженные", "Маленький оборвыш", "Оливер Твист", "Человек, который смеется", "Гуттаперчевый мальчик", "Дети подземелья", "Давид Копперфильд", "Овод", "Хижина дяди Тома", "Муму", "Каштанка" и многие, многие, многие...

Умиравшие от голода, распухшие или заживо иссыхающие деревенские дети зимы 1932 — 1933 годов, которых отец собирал в вымиравших селах и на несколько дней, до устройства в больницы и детдома, помещал в своем маленьком домашнем кабинете, — вот мои первые "однодельцы". Они пробили первую брешь в том микромире, в котором нам, детям из нескольких молодых интеллигентных семей, так хорошо жилось*.

Дверь кабинета выходила в коридор коммунальной квартиры, все семьи которой были братски дружны. Мы торчали под этой дверью, как нас оттуда ни гнали. Именно в это время, когда в кабинете лежали полуживые сельские дети, которых выхаживали наши родители, отца и начали вербовать в сексоты. Мама не раз нам рассказывала, как, вымогая согласие на сексотство, "они" изводили отца угрозами, что его, главврача городской больницы, сгноят в тюрьме, нас уморят голодом, а мать доведут до улицы...

Позднее, когда он слег, он часами кричал в затемненной спальне: "Роза, наши дети опухли! Роза, дети просят милостыню на улицах! Роза, тебя заставили торговать собой!.." И снова сначала: "Дети опухли! Дети просят хлеба!.."

Когда он кричал, — нас отправляли к соседям, но и там все было слышно.

Жила тогда у нас няня, Мотя, которая посылала родным в деревню пачки желудевого и ячменного кофейного суррогата: из него в украинском приднепровском селе 1933 года пекли лепешки, о которых нам страшно было подумать /няня объясняла нам, как их пекут/. А соседская няня взяла у

* В очерке "Моя школа" /"Время и мы" №34/ я коротко упоминала о судьбах отца и его брата.

хозяев-врачей хлебные карточки и, сказав, что их вытащили у нее из кармана, целый месяц передавала в деревню хлебный паек пяти человек. Каким-то образом она поймалась. Взрослые возмущались, закрывшись от нас в одной из спален трехсемейной квартиры. Обе наши няни плакали, сидя на своих узких железных койках, в коммунальной кухне. А мы, дети из трех учительско-докторских семей, стояли в углу, у печки, и тоже плакали, глядя, как плачут няни. Соседи наши, добрые и справедливые, деликатные и образованные, прятали от всех нас, детей, глаза, но "воровку" прогнали. Хотя сами и без хлебных карточек от голода не умерли, а в деревне — мерли...

В одно очень солнечное, очень зелено-золотое /сквозило солнце из-за тополей и кленов у окон/ майское утро меня разбудил ни на что не похожий крик. Мама лежала на крашеном потертom полу в маленькой нашей столовой и пронзительно тянула на каждом выдохе длинное "а-а-а"...

Она и умирала через тридцать семь лет с таким же, только тихим и слабеньким, стоном-криком на каждом выдохе. И много лет после того майского утра мы с братом боялись похорон по соседству, потому что мама начинала плакать — сначала тихонько, потом громче и громче и, наконец, кричать, как в то утро, — если слышался, пусть очень издалека, траурный марш, который играли на похоронах отца. Спустя какое-то время крик становился все тише и тише и, наконец, прекращался. Никакие уговоры при этом не помогали.

Следователь доказывал мне, что отец был душевно болен и что не "органы" с их "доверием" подтолкнули его к петле, а болезнь и переутомление. Не знаю, был ли он болен, но выглядел богатырем. Ста девяноста трех сантиметров ростом, широкий в плечах, — когда он шагал по улице, его шляпа, летом — соломенная, зимой — фетровая, плыла высоко над толпой. Дома он сажал иногда маму на плечи, а нас — на две полусогнутые руки, и мы гарцевали на нем по всей квартире. Он делал сложные операции и написал несколько уникальных статей по вопросам гинекологии. Нездоровье ли, рани-

мость ли слишком нормальной — слишком чуткой — души привели его к гибели в сорок два года?

Первый раз он чуть не покончил с собой в четырнадцать лет, когда его отец оставил в местечке четырех детей и беременную жену и сошелся в Петербурге с женщиной, которую полюбил. Второй раз, будучи начальником госпиталя в Красной Армии во время гражданской войны, уже женатый, он надолго проникся отвращением к жизни, потрясенный смертями и кровью, которых не мог оправдать. Его демобилизовали, и они с мамой поехали в Казань — доучиваться: он, "зауряд-врач"* — на последнем курсе медицинского факультета, она — на историко-филологическом. В 1928 году они переехали в Запорожье. Одиннадцать лет он работал без отпусков, как одержимый: в больнице, в селах, в медтехникуме, который мечтал превратить в институт; над диссертацией по обезболиванию родов, на эпидемиях, дома. Кроме того, он шил нам игрушки и одежду, столярничал, сам сделал всю мебель для своего кабинета, умел шинковать капусту и запекать буженину, рыбачил и учил меня кататься на лыжах и на коньках.

Тогда вербовали в сексоты многих: изымали золото у населения. Нужны были надежные осведомители. Вызывали наших соседей по коммуналке, вызывали маминых младших братьев. Говорят, они выдержали: не согласились и не заболели. Но для него это был еще и вопрос веры или неверия в происходящее. Он не принял гражданской войны, он не мог постичь тридцать третьего года, а тут еще — и вербовка в сексоты...

Вернусь в то страшное утро, с его противоестественно-безмятежным весенним светом.

Увидев меня, мама на мгновение перестала кричать и сказала неожиданно четко: "Нет у нас больше папы". И снова — крик. Братика я не вижу в этой картине: наверное, его забрали соседи. Вокруг толпились друзья родителей. На столе ле-

* Врач, окончивший полный курс медицинского факультета, но не успевший в связи с мобилизацией в армию /1914 г./ сдать выпускные экзамены.

жал телеграфный бланк. Карандашом на полуоберточной шершавой серой бумаге было написано: "Приезжайте немедленно доктор Шток тяжело заболел". Потом оказалось, что телеграмму на почте переписали по просьбе соседей, случайно открывших дверь почтальону, накануне вечером. В первой стояло: "Доктор Шток умер приезжайте немедленно". Друзья пытались отодвинуть от мамы ее вдовство на несколько дней, но она почувствовала, что отца уже нет. В тот же день с одним из друзей отца она поспешила в Одессу. В Одессе бросилась к телефону, вызвала главврача санатория и на вопрос: "В каком состоянии доктор Шток?" — услышала: "Все в порядке: тело на леднике".

Годом позже мы переехали в Харьков, где жили все наши родственники. Она бежала от одиночества, от могилы, на которой бывала каждый вечер, от досаждавших ей поклонников — друзей отца, холостых и женатых. Замуж она больше не выходила. Ей было в год его смерти тридцать четыре года.

Отец повесился на чердаке одесского санатория имени Лермонтова, куда мама за две недели до этого его отвезла. Он оставил письмо, которого я не читала. Мама его уничтожила, следуя его просьбе, завершавшей записку, но много раз нам ее пересказывала. Отец писал, что либо он, действительно, болен и у него галлюцинации, либо его и тут не хотят оставить в покое. Ему уже несколько раз показалось, что в санаторском парке и в столовой он видит своего собеседника по "тем встречам". В любом случае /болезнь или "их" внимание/ семье будет лучше, если он своевременно уйдет из жизни. Он просит прощения у мамы и советует ей не восстанавливать детей против известных ей инстанций, ибо ни он, ни она не разобрались еще в смысле происходящего. Может быть, оно и требует жертв. Но выполнять "их" "задания", известные ей, он не будет, не может.

Обо всем этом я очень подробно рассказывала гражданину Михайлову, чем и укрепила его уверенность, что в основе враждебности к действиям партии и советской власти может лежать только обида. Ему невозможно было объяснить, что слова отца о еще для него вероятной целесообразности проис-

ходящего, о неисключенной необходимости жертв обязали меня додумать за умершего. Он только предположил во мне, кроме обиды, еще и наследственную психическую патологию: какая нормальная двадцатилетняя девушка стала бы рыться в марксистских "первоисточниках", в работах оппонентов марксизма и в немарксистских исторических сочинениях по доброй воле, чтобы додумать недодуманное ушедшим отцом?

Была в прологе нашего "дела" еще одна главка, гражданину Михайлову оставшаяся известной не полностью. В семье моего отца, перебивавшейся после ухода деда случайными заработками старших детей /помощи от деда несколько лет не брали — потом сдались/, двое: отец и старшая из сестер — были врачами и в партию не вступили. Средний же брат, в 1930-х годах — крупный издательский администратор в Киеве, был коммунистом, как говорится, с младых ногтей. Во время болезни отца он завершал коллективизацию украинской деревни и организовывал хлебопоставки. Когда отец, преследуемый видениями голодной семьи, свалился, мать обратилась к его младшему брату с просьбой приехать и убедить старшего, что "органы" оставят отца в покое и что нам ничего не угрожает. Брат, достаточно близко знавший всю запорожскую верхушку, чтобы попытаться помочь, тогда не приехал, сославшись не неотложность партийной кампании, которой был занят весной 1933 года. Он сумел выкроить время только для похорон отца, своего постоянного оппонента, которого, впрочем, и любил, и ценил. В 1938 году его арестовали, о чем гражданин Михайлов, конечно, знал. Не знал он только о том, что через несколько месяцев после его ареста жена дяди принесла мне спрятать его письмо к Сталину, чудом доставленное из харьковской внутренней тюрьмы НКВД кем-то не то из ее персонала, не то из выпущенных. Это были грязные, истертые клочки бумаги и лоскутки бельевой ткани, но я постепенно, тайком от мамы /тетка просила маму в это не посвящать/ разобрала, что на них было написано. Дядя докладывал вождю о нечеловеческих пытках, которым

подвергают его и других коммунистов харьковские чекисты, добиваясь клеветы и самооговоров.

Говорят, что нервной горячки, о которой так часто пишут в старых романах, в действительности не существует. Я перенесла ее несколько раз в жизни; впервые — после чтения дядиного письма. Мама все-таки нашла его у меня под матрасом и вернула тетке. Странно, а может быть, и чудовищно, но и тогда я не отождествила злодейств исполнителей с порочностью замыслов. По всей вероятности, манихейская психология большевизма и официальная фразеология нашего детства позволяли объяснять все, что угодно, словами "предательство" и "вредительство". Теряющие отцов и родственников, мы всего-навсего осмелились заподозрить, что "предателями" и "вредителями" были каратели, а не караемые. Так рассуждал и дядя в своем письме. Он допускал, однако, что часть караемых и в самом деле "виновна". И все-таки во мне доминантой оставалось унаследованное от отца чувство, что во всем этом следует основательно разобраться. И разобраться самостоятельно, начав с какого-то еще неведомого нам "начала". Все то, что нас осаждало и вызывало протест, уже ощущалось как СЛЕДСТВИЕ, а не как перво-причина. Может быть, в этом чувстве, велящем беспристрастно и логически безупречно разобраться в происходящем,, сказывался еще и включенный в наше сознание чуть ли не с детского сада прямолинейный марксистский исторический детерминизм. Мы были глубочайше уверены, что у любого явления имеется познаваемая причина. Коммунизм был святыней, а святыню с плеча не судят.

На полках стояли прекрасные книги, и коммунизм им не противоречил. В книгах пылал огонь бескорыстия — уничтожение частной собственности воспринималось как насаждение бескорыстия. Коллективизация могла трактоваться как путь к бескорыстию. Но если бы без опухших детей и плачущих нянь!.. Равенство, братство были стержневыми идеями тех же любимых книг; их надо было защищать и отстаивать — как Дон-Кихот, как Спартак, как Овод, как Чапаев, как Дзержинский, как... Но если бы отца моего не довели до пет-

ли требованием доносить на коллег и друзей!.. Однако — как обойтись без разведчиков? Но...

Нас было несколько страшекласников, теснейших друзей — еще до войны, до армии, до эвакуации. И жили мы напряженной внутренней жизнью — между исходными книжными и школьными аксиомами и этими роковыми "но". И одновременно — в озорстве, в играх, в искусстве, в первых романах, в непрерывном чтении, а главное — в живой и по сей день дружбе. Самоубийство моего отца, аресты отцов и матерей ближайших друзей, дядино страшное письмо из внутренней тюрьмы не лишили меня, благодаря дружбе и книгам, света юности. Судьба младшего брата была куда тяжче, но это особая тема...

...Дядя отбыл свой первый срок /1938 — 1948 гг./, вернулся и сразу же поехал в Москву, к Сталину, со списками "невинно осужденных" коммунистов, составленными им в лагерях. Там было, если не ошибаюсь, около двухсот фамилий. Мне запомнился последний наш с ним разговор в 1949 году, на одном из каменных мостов, переброшенных через узкие, грязные харьковские речушки. Он все еще оставался только лишь более роялистом, чем король. Я умоляла его ехать со мной в нашу непаспортизованную деревню, а он доказывал мне, что это будет предательством по отношению к тем, неосвобожденным. Мы говорили на разных языках, в несопоставимых системах отсчета, в которых словесные знаки "Сталин", "коммунист", "вина", "правота", "честность" уже имели несовпадающие значения. Он поехал в Москву, был арестован сразу же в приемной ЦК партии и погиб где-то в мордовских лагерях, незадолго до смерти Сталина. Но последняя встреча с его "делом" суждена была мне, как это ни странно, в Хайфе, в 1979 году. Мы с мужем ожидали приема в одном из учреждений, оказывающих помощь в трудоустройстве новоприбывшим. Рядом с нами сидел желчный сухой старичок со слуховым аппаратом. Мы разговорились. Он сетовал на свои эмигрантские неурядицы: инвалид войны с почти стопроцентной потерей трудоспособности, он получал солидную пенсию, но хотел еще и работать, из-за чего

пришлось бы потерять часть пенсии. А этого он никак не желал. Был он, по его словам, до 1978 года главой хайфского отделения общества ветеранов Второй мировой войны — выходцев из СССР. Мы поинтересовались его советской профессией. И вот что услышали: он служил в прокурорах очень высокого ранга. В 1936 — 1938 годах он был прокурором в Киеве, а в 1939-м получил назначение в только что оккупированный Львов и там проводил "советизацию" в прокурорском своем амплуа. Инвалидность он получил при попадании бомбы в особый отдел какой-то из оборонявших Сталинград дивизий /контузия дала глухоту/. В 1952 году, во время вычистки "безродных космополитов" из служб юстиции и прокуратур, его посадили. Но друзья из "органов" обеспечили ему сравнительно малый срок и сразу же после смерти Сталина освободили. Теперь он фигурирует не только как инвалид и ветеран войны с нацизмом, но и как "узник Сиона".

Я спросила прокурора о своем дяде, видном киевском коммунисте. И вдруг он без запинки перечислил его однодельцев и их должности, назвал партийную кличку дяди. "Вы подписали ордер на его арест?" — спросила я. "Мы подписывали пустые бланки постановлений об аресте и передавали их органам", — ответил он высокомерно. Затем он начал бранить израильскую юстицию: "Если бы я мог освоить иврит, я бы навел тут порядок". В этот момент его, к счастью, пригласили в кабинет для беседы. К счастью — потому, что мужа моего трясло, и я вцепилась в его ладонь, чтобы удержаться от "эксцессов".

Прокурор-сталинец, исполнявший свои обязанности, по его словам, с 1924 по 1952 год, гордящийся этим по сей день, получающий максимальную пенсию как ветеран борьбы против нацизма, да еще мечтающий преобразовать по советскому образу и подобию израильское право — не пикантная ли ситуация? Почему я тут о нем говорю? Отнюдь не ради "разоблачения" одряхлевшего сталинца, из которого уже высыпается последний песок. Просто его прокурорская подпись, узаконившая арест моего дяди, "задействовала" одну из наших семейных судеб, тоже лежащую в истоках моей судимости...

А сейчас — об одном из самых главных для меня эпилогов нашего "дела". Им стал многосуточный предсмертный бред моей матери. Она умирала от неизлечимой болезни и часами, в полусознании, повторяла несколько монотонных фраз.

Первая, самая частая, варьировала одну просьбу: "Убери тетради... убери тетради... порви тетради..."

Проклятые мои тетради, изувечившие ее жизнь, не давали ей умереть спокойно. Я несколько раз рвала при ней какие-нибудь исписанные бумаги, но через мгновение все начиналось сначала.

Вторая фраза, которая звучала в доме часами, была: "Я должна шестьдесят рублей. Мы не отдали денег. Я должна шестьдесят рублей". Мы убеждали ее, что все долги отданы. Она на секунду успокаивалась, но, забывшись, опять начинала волноваться о долге. Ее детство и ранняя юность /в 1917 году ей исполнилось семнадцать лет/ текли в добротном достатке. Щепетильно честная, она так и не привыкла к нашим вечным долгам, хотя можно было привыкнуть. Едва ли хоть один месяц ее вдовьей жизни кончался без долга соседям, родственникам, сослуживцам, друзьям. В Союзе почти все рядовые, средние граждане /не воры и не элита/ перебиваются краткосрочным одалживанием друг у друга небольших сумм. Но для нее это было, по-видимому, тяжело, хотя она делилась с другими легко и щедро, иногда последним. Она забирала в свой дом от ворот моих лагерей освободившихся зеков, не спрашивая, кто они и за что сидели, кормила моих учеников, живших и не живших у нас в доме, нередко потому и влезала в долги. Но в канун ее смерти я узнала, что долги ее изводили.

Третьим призраком, мешавшим ей умереть спокойно, было бездомье. "У детей нет квартиры", — повторяла она снова и снова. Из-за моего ареста она не вернулась вовремя в Харьков и не получила своих довоенных двух комнат в коммунальной квартире. После войны шестнадцать лет жила она со своей старшей сестрой, второй нашей матерью, в сырой комнатухе у родственниц. Четырнадцать квадрат-

ных метров, печное отопление, отсутствие кухни или хотя бы теплой прихожей, зимой — помойное ведро в той же комнате; туалетная во дворе и вода — за полквартила от дома; сырая до половины стена; клопы, без конца ползущие от соседей, — и вечные инсектициды, может быть, и предопределившие у тети — тяжкое воспаление печени, у нее — опухоль легких, — так прожила она до конца 1964 года.

Она простояла в послевоенной очереди на квартиру семнадцать лет.

Но в дни ее последней болезни мы уже жили в двухкомнатной тридцатидвух метровой кооперативной "хрущобе", казавшейся нам хоромами. Она об этом забыла, как забыла и о новой трехкомнатной квартире моего брата. В агонии мнимое бездомье детей терзало ее больней, чем тогда, когда дома действительно не было. Мы сажали ее /всегда — маленькую, а теперь исхудавшую до невесомости/ в кресло и двигали по всей квартире: от спальни до входной двери. Она успокаивалась, счастливо смеялась, будто к ней возвращалась ее обычная трогательная способность радоваться и нас заставлять радоваться всем передышкам, всем светлым минутам жизни, всему отвлекающему, греющему, выносимому... Но стоило ее уложить в постель, как слышалось то же горестное: "У детей нет квартиры..."

Иногда бред сводился к другой навязчивой мысли: "Надо уехать". Ни мы, ни она не думали тогда, в 1970 году, об Израиле. Старший брат матери умер в 1939 году в Америке. Четверо братьев и сестер с детьми и внуками, невестками и зятьями — двадцать человек — погибли в Польше во время нацистской оккупации. Мы не знали еще тогда, что два сына самой старшей ее сестры живут в Израиле. Мама так боялась любых отношений с властью, что у нее не было сил думать о выезде из СССР, о какой-нибудь новой тяжбе с "ними". "Надо уехать" было, я думаю, лишь выражением жажды укрыть, спасти, увезти детей куда-то туда, где на них перестанут охотиться.

И был еще один долгий бред — погром. Белосточанка, она ребенком пережила страшный погром, в котором погиб

ее маленький брат. Сосед-лавочник избил малыша, и тот скончался от скоротечной чахотки. Брат мой носит его имя — Теодор. Часть детей спас тогда директор гимназии, где учились старшие, — Кренкель /отец знаменитого радиста-полярника Эрнста Кренкеля/; остальных укрыл у себя сосед-священник. Так получалось, что в самые черные дни, и ее, и наши, вдруг вспыхивало во тьме человеческое участие и не давало озлобиться. Находились праведники и в Содоме. И она всегда это помнила.

Но однажды, в те страшные последние тридцать шесть дней ее жизни, когда мы перестилали ее постель, она вдруг странно выгнула шею и попыталась биться впалым виском о спинку стула, на котором, с помощью внучки, сидела. "Я еврейка... еврейка... уведите меня... берите... убейте меня... я тоже еврейка..." — повторяла она, отстраняясь от наших рук при попытках ее уложить, успокоить.

Может быть, развороченная постель, взбиваемые подушки вызвали в памяти образы или рассказы детства? Напрасно мы убеждали ее, что она — дома, в семье, что нет здесь ни погромщиков, ни нацистов, что и мы — евреи. Пристально, отчужденно она посмотрела на нас обеих, которых в те дни то узнавала, то переставала узнавать, и горько сказала: "Какие же вы евреи?..."

А ведь была она с юности ассимилированной в русской культуре, насколько не националисткой, кончила два факультета: дневной — историко-филологический и вечерний — по английскому языку. И семья была смешанной уже в трех поколениях: у ее брата, у обоих ее детей и внучки. Но перед смертью возник неотступный ужас погрома и острое чувство единства с теми, кого убивают. Может быть, привези мы ее сюда хотя бы за несколько лет до смерти, исчезли бы все эти страхи. Но не привезли...

Многие бредят в агонии. У многих агония длится неделями. Но бред-то каков? "Спрячь тетради... Я должна шестьдесят рублей... У детей нет квартиры... Надо уехать... Берите меня... Убивайте меня: я еврейка!..."

2.

"И если когда-нибудь в доме своем мы будем втроем, как были втроем..."

Уже не будем. Мы можем встретиться только в тетради, которая теперь днем и ночью лежит на столе. Не в тайнике, шитом белыми нитками, куда ее заталкивают, окончив работу или при неожиданном дверном звонке. Не у знакомых дальних знакомых, которых нельзя ни в чем заподозрить; или у чьих-нибудь престарелых родственников /идеально, если за чертой города/ — когда над головами сгущаются тучи, реальные или мнимые...

Из трех непосредственных и двух ближайших, но не арестованных участников нашего "дела" троих нет в живых, а двое уже никогда не увидятся. Если только опять не случится чуда — такого же, как то, что мы вышли из "их" лап живыми.

С чего начинать? С того, за что нас посадили, или с того, кто нас посадил? Начну с последнего.

В 1965 году я привезла в Москву несколько статей и тетрадь стихов. До сих пор не понимаю, как я могла явиться со своими тетрадями даже в самую либеральную редакцию тех лет*.

* В тот же приезд в Москву мне предстояло познакомиться в доме коллег по студенческим годам с Юлием Даниэлем. Через несколько месяцев, уже в Харькове, подлая статья "Перевертыши" — об аресте Юлия и А. Синявского — в прямом смысле слова свалила меня с ног. Сердце не выдержало страха за человека, вызвавшего при первой же встрече доверие и симпатию. Ударил ужас окончательного возвращения советской жизни "на круги своя". Пусть читатель судит о том, насколько живучи были иллюзии, если в 1965 году это возвращение могло еще меня, при моем жизненном опыте, так потрясти. В том же июне 1965 года, в Москве, Владимир Дудинцев, около стопок уже перепечатанной рукописи его второго романа, так по сей день ни в Госиздате, ни в Самиздате, ни в Тамиздате не опубликованного, уверял меня и себя, что либерализация все-таки не угаснет, что она одолеет. У него тогда даже "октябристы" /журнал "Октябрь"/ просили чего-нибудь "острого"... Я пришла к Дудинцевым, ими не званная и им незнакомая, по адресу, взятому в Мосгорсправке, и мы проговорили несколько часов. Статей моих Владимир Дмитриевич у себя не оставил; дом его был неподходящим местом для таких рукописей. Рассказала ему о сочинениях моих старшеклассников, посвященных его "Новогодней сказке" и "Не хлебом единым". Прочитала посвященные ему стихи. Как там ему сегодня дышится и где его роман о лысенковщине? Неужели канул в небытие навсегда? /Портрет Дудинцева, данный Р. Берг /"Время и мы", № 50/, резко противоречит моему впечатлению.

Итак, с тетрадкой стихотворений и фрагментов из поэм в руках и с двумя тетрадями статей в сумке я пришла в редакцию "Нового мира". Без всяких рекомендаций, как говорится, с улицы...

По сей день не знаю точно, кто был моим собеседником, хоть и догадываюсь. Я назвала себя, он — нет. Где он сейчас, не знаю. Поэтому постараюсь не давать повода к узнаванию человека, известного, несомненно, многим. После нескольких минут разговора он заметил: "Если вы со многими в Москве намерены так разговаривать, как со мной, то вскоре вернетесь туда, где, по-видимому, уже побывали".

"Но ведь я в "Новом мире"! — сказала я. В моем представлении это было ответом на его слова. — И сейчас шестьдесят пятый, а не пятьдесят второй!"

"И тем не менее, — отвечал он. — Где и за что вы сели?"

Я назвала дату, город, университет, статью, по которой нас осудили. Когда я закрыла рот, передо мной сидел другой человек: лишь теперь я увидела, как он до этого был насторожен и скован.

"Значит, вы живы! А говорили, что вы не вернулись, все трое..."

И вдруг лицо его снова стало жестким: "Вы знаете, кто вас посадил?"

И он назвал одного из наших давних университетских товарищей, а моего в ту пору — и вовсе близкого друга, Андрея Досталю, небезызвестного поэта, автора лирических и комсомольских песен. Мы с ним не виделись все эти годы — с 1944-го по 1965-й. Мои старания доказать собеседнику, что Андрей не имел отношения ни к нашему аресту, ни к нашему осуждению, оказались напрасными.

"Не встречайтесь с ним, — твердил он. — Он плохой человек. О его роли в вашей истории стало известно сразу. Он опять вас угробит. Ведь вы с ним были дружны?"

"Да. Очень..."

"Ну, вот! Вас посадили, а он тогда же приехал в Москву и поступил в Литинститут. Значит, это правда. Иначе бы и его посадили. И уж во всяком случае, в Литинститут не приняли бы".

Напрасно я объясняла, что мы отправили свои документы: я и двое моих друзей в ЛИФЛИ, а Досталь — в Литинститут, — за полгода до того, что с нами произошло. Андрей получил вызов раньше, а наши пришли, когда мы уже находились во "внутренней". Ничего не помогало: собеседник мой продолжал считать, что я заблуждаюсь. И это было ужасно, потому что Андрей действительно не имел отношения к нашему "делу".

...Мы с ним часто спорили перед его отъездом из Алматы в Москву, но эти дискуссии относились не к существу наших взглядов. Спор шел о том, что он называл тактикой.

Андрей собирался сначала подняться на высоту, недостижимую для преследователей, а уж потом!.. Свобода действий стоила, по его убеждению, "мессы", а в качестве залога свободы возникала в тактической перспективе /и должна была стать на несколько лет главной целью/ Сталинская премия. Для Сталинской премии уже сочинялась поэма о Сталинграде. Я понимала, что путь, избранный им, безнадежен. Но он утверждал, что укроет "главное" внутри себя, замкнет его в себе, как в несгораемом шкафу, и, когда будет "можно", раскрепостит набравшую силу мысль, чтобы поразить зло. И все-таки он нас не предавал. Такой цены за Литинститут он не заплатил бы. И даже за Сталинскую. У меня не было, нет и никогда не будет в этом сомнений.

Из "Нового мира" мы с дочерью пошли в адресный стол, потом долго блуждали по фантазмагорическим коридорам и дворовым переходам каких-то дореволюционных "меблирашек", искали жилье Андрея в булгаковском лабиринте одной из "коммуналок" Петровки.

Его не было дома. Мы оставили у соседки записку, где я сообщала, что приду завтра. Утром соседка встретила нас чуть ли не шваброй. Андрей испугался моей записки, кричал на старуху, топал ногами, велел, чтобы никогда ничего ни у кого для него не брала. Потом ушел и дома не ночевал. Второе письмо, торопливо набросанное здесь же, в коридоре, она отказалась взять, и я подсунула его под дверь запертой комнаты. Теперь я писала прямо, что услышала — вот теперь,

в Москве, — сплетню о его роли в нашей судьбе; знаю, что это ложь; могу засвидетельствовать это перед каждым, кому он пожелает меня представить. Просила его приехать к моей подруге повидаться со мной, ибо через два дня я уезжаю и вряд ли скоро опять попаду в Москву.

Он примчался по указанному мною адресу на другой день рано утром.

Старушки — тетки моей подруги — еще лежали в постелях, и принимать Андрея в их единственной — на троих — комнатухе нельзя было.

В палисаднике деревянного двухэтажного полубарака постройки начала 30-х годов он обрушил на меня недоумения и обиды: "За что?! Почему они все решили, что я вас предал?!"

После нескольких минут разговора он отправил меня узнать, можно ли возвратиться в комнату: не хотел разговаривать со мной без свидетелей. Мы вернулись в дом. Там он много рассказывал о себе, как-то слабо реагируя на настроение окружающих. Читал свою лирику, сумбурную, клочковатую, с налетом не то отчаяния, не то безумия. Жаловался, что этих, главных его стихов не хотят печатать. Его явная житейская неустроенность, бессемейность, роковая любовь к двадцатилетней алкоголичке, генеральской дочери, героине его стихов, где-то растущий сын от первого брака, собственная машина и очевидная нищета, запои, о которых он говорил как о естественном обстоятельстве незаурядной жизни, — все это было страшно.

Е. Евтушенко в своей "Автобиографии", изданной в ФРГ в пору его либеральных шалостей, сказал о Достале, который помогал ему публиковаться на первых порах: "...маленький поэт, но хороший человек"* . Это не так: Андрей был талантлив — в юности. Думаю, что его поэтическое дарование, как и дарование Евтушенко, убито этически порочным выбором, нравственной безответственностью. Один из бесчисленных вариантов гранинского Минаева /"Собственное мнение"/,

* Андрей был глубоко обижен этой характеристикой. "Кто такой Евтушенко, чтобы определять ранги поэтов?" — говорил он мне.

Андрей хотел сначала обезопасить себя от ударов лапы, исковеркавшей судьбы его друзей, а затем... Но призвание, призванность к задаче легче выдерживают десятилетия относительной немоты, относительного вакуума /я подчеркиваю: относительного, ибо никогда и нигде, кроме как в одиночке, не оказывалась без собеседников, слушателей и единомышленников/, чем подобное: "...сначала обезопасить себя, а потом — стать честным".

Я хотела ему рассказать, как провела эти 20 лет, чем живу теперь. Он наотрез отказался слушать: "О тебе — ни слова. Если пишешь, но не вышла в печать, несмотря на "оттепель", значит занята чем-то вроде прежнего. Знаешь об этом, конечно, не ты одна: ты молчать не умеешь. Вокруг тебя всегда люди. Вот — была в "Новом мире"... На тебя опять донесут — скажут, что я. Ведь узнают, что виделась! Ничего не хочу о тебе слышать. Хватит того, что жива... И не крась, пожалуйста, губы яркой помадой: старит. И провинциально".

Его роковая генеральская дочь была чуть старше моей дочери, а он, мой ровесник, заботился о моей молодости. Несмотря на помятость лица и проседь, на несвежую марлевую повязку /один глаз Андрей потерял подростком и носил то повязку, то протез в глазнице/, он показался моей дочери по возрасту более близким к ней, чем ко мне. Что-то в нем оставалось юношеское, даже детское.

"Хочешь, я расскажу тебе, кто на нас донес, чтобы ты мог отбиться при случае?" — спросила я.

"И этого не хочу. Во-первых, не от кого отбиваться: смотрят мимо, ползет слушок, шипят двадцать лет за спиной. Что же мне — бегать и хватать их за полы, чтобы оправдаться? Во-вторых, не исключено, что и о тех — это ложь. Заслонить стукача оклеветанным человеком им ничего не стоит..."

Бедный Андрей! Эмигрировав и начав печататься, в письмах людей, узнавших меня и припомнивших наше "дело", я опять прочитала суждения о Достале как об одном из доносчиков. Не через двадцать, а через тридцать пять лет после случившегося клевета шла за ним по пятам.

...Собственно говоря, на нас не могли раньше или позже не донести — хотя бы потому, что мы ничего не скрывали: я выступала с докладами, мы участвовали в студенческих научных дискуссиях, не ограничивая себя в свободе высказываний. Когда я говорю о доносителях, речь идет в большей мере об их этике, чем о нашей судьбе. Секретарь факультетской комсомольской организации Гриша Герман, инвалид войны, незадолго до этого демобилизованный, спорил с нами до хрипа /мы ничего от него не скрывали, а он ни в чем с нами не соглашался/, но ему и в голову не пришло кому-то о нас докладывать. Вызванный в качестве свидетеля на суд, он упрямо отрицал состав преступления в наших действиях, чем на годы испортил свою карьеру.

Поведение каждого из осведомителей по нашему "делу" было в существенной мере фактором и х личной судьбы, а не только нашей, параметром и х личностей — этим оно и примечательно.

И ведь что интересно: по сути дела, на нас и не клеветали. Крамола по отношению к официальной идеологии действительно содержалась в том, что мы говорили, писали и думали. Осведомители доносили, или сообщали, или информировали — пусть каждый назовет это соответственно своим представлениям об их действиях. Парадокс заключался в том, что никто из тех, кто среди стукачей по нашему "делу" мне сегодня известен /о подозреваемых говорить не буду/, не следовал велениям своего внутреннего "я", своего долга, своих идей и принципов. Они попали в ловушку, не более того. Они сдались.

Один из них был нашим ровесником, учился не то на филфаке, не то на физмате. Был он худ, сутуловат, остролиц, сильно косил. Всегда был плохо, не по сезону, одет и обут, жил на стипендию. Его семья осталась "под немцами", в каком-то из мелких еврейских местечек днепровского Правобережья. Однажды на студенческом лесоповале, в горах, около Алма-Аты, несколько юношей-математиков спорили на религиозно-философские темы. Проблемы Бога и мирового порядка чрезвычайно занимали тогда наших коллег —

физматовцев; мы же, историки и филологи, тонули в парадоксах марксизма и советского строя. Жажда обнаружить книжную логику коммунизма уводила нас все безнадежней и глубже в его тупики. Но вернемся в палатку. Один из спорящих услышал у себя за спиной шорох, резко поднял брезент и схватил за руку парня, лежавшего с внешней стороны у стены.

Ночь была холодная, земля — сырая, и лежать под чужой палаткой из любви к природе нельзя было. Пойманный с поличным, В.* схлопотал по шее, получил крепкий пинок, и полетел в темноту. Беспечные спорщики вскоре о нем забыли, даже не ославили среди товарищей. Через год все они были арестованы, но срок получил один — наш друг, присоединенный к нашему "делу": остальных за богоискательство не судили. Кажется, даже не выгнали их университета, не помню.

Второй оказалась моя подруга и сокурсница Стелла Корытная, за которой В. пытался ухаживать. Ее отец был одним из секретарей Московского горкома партии, расстрелянных в 1937 — 38 годах**» Мать отбывала срок в Магадане как ЧСИР***. Стелле было в 1943 году девятнадцать лет, мне — двадцать. Стелла попала в университет после детдома для семей репрессированных. Она проводила за учебой две трети суток и, случалось, падала в читальне в обморок от истощения и усталости. Учеба давалась ей не очень легко — как сложное, кропотливое рукоделие. Она была всегда озабочена страхом потерять стипендию, которой не хватило бы на буханку базарного хлеба, но было достаточно, чтобы "выкупить" голодный хлебный паек и талоны на суп. Ее мучил страх, что припомнят судьбу отца, узнают о переписке с матерью /"до востребования"/ и выгонят из университета. Ее

* Не знаю ничего о его дальнейшей судьбе, о семье — не буду поэтому его называть.

** Однажды я послала А. Т. Твардовскому пьесу, в которой фигурировала фамилия Стеллы /вне всякой связи с ней так был назван один из героев/. На полях А. Т. набросал карандашом историю истинного Корытного, отца Стеллы. В статье "Стукачи и гонг справедливости" /"Время и мы", № 42/ я упоминала о Стелле.

*** Член семьи "изменника родины".

держала в тисках насущная необходимость быть безупречной отличницей, безотказной "общественницей", инициативной "активисткой". Ребенок "врагов народа", допущенный в университет по недосмотру правящих /или с расчетом?/, она прибилась к нам, как только мы о себе заявили первыми моими докладами.

Мы тоже были детьми из пострадавших семей. Но все мы остались дома, купались в преданности матерей и поэтому были и в двадцать лет беспечны и расточительны. Экзамены мы сдавали в полсилы, а все свое время, свободное от самых необходимых домашних и университетских обязанностей и занятий, посвящали друг другу, книгам и всему, что нас занимало. Стелла так поступать не могла. И все же она со зрелым упорством боролась за свою студенческую неуязвимость не только из-за шаткости своего положения. Андрей намеревался добиться Сталинской премии ради возможности без риска говорить правду — наивный и безнадежный самообман. Стелла, как многие в ее возрасте, жаждала убедиться, что она незаурядный, значительный человек. Безразлично, на каком материале, в решении какого вопроса, но убедиться. В ранней молодости кого не изводит жажда быть победительным? Я, например, до 14 — 15 лет ужасно боялась, что не выйду замуж, не научусь танцевать и не докажу "одному человеку", что я "умная". Один "человек" упорно не хотел в это верить. Но в Стелле естественное юношеское честолюбие сочеталось с недетской концентрацией воли на его удовлетворении. Мы буйно радовались успехам друг друга, действительным или мнимым — не важно, — она огорчалась чужими успехами: они ее ущемляли и подавляли.

Я отчетливо помню один разговор, который насторожил и отшатнул от нее мою мать. Стелла читала какую-то полудневниковую /тогда все так писалось/ мою писанину и вдруг воскликнула:

— Это несправедливо! Несправедливо! Я работаю до изнеможения, вчера опять грохнулась в читалке в обморок от усталости, а ты проболталась весь вечер с ребятами и написала такое в очереди за хлебом!..

— Способности у нас, — отвечала я, — примерно равные. Трудоспособность у тебя больше. Но твои усилия рассеиваются, как свет лампы, равномерно — на все окружающие предметы, а мои — одним узким лучом направлены с детства на один-два вопроса, не дающих мне жить. Кроме того, нас интересуют вопросы, которыми мы заняты, тебя — твой успех в решении любого вопроса. Когда тебя задача захватит больше, чем то, как ты выглядишь при ее решении, дело пойдет по-иному. Перестань думать о том, кто из нас способней и чего кто стоит. Думай о деле.

Мне тогда не дано еще было знать, что не всегда человек может приковать себя к делу по своей воле. "А если живешь прикованным к своим похоронным дрогам?.. И в теме одной, проклятой, в бездонной братской могиле, ни покривить, ни спрятать — ничем пренебречь не в сила?.." — писала я позже — в ответ на столь же настойчивые советы противоположного свойства: отказаться от своих вопросов и преуспеть в решении более безобидных. Я по сей день не знаю, как происходит главное: как человек избирает Тему /или Тема — человека/? Но теперь я хотя бы знаю, что для завоевания тех высот, о которых мечтала Стелла, благого намерения, самого искреннего, еще недостаточно. Надо быть захваченным Темой настолько, чтобы она вросла в раненное ею сознание. Стелла же была /это я поняла через много лет/ неизлечимым эгоцентриком — существом, при любых дарованиях, при любом честолюбии, при любой целеустремленности, бесплодным, ибо лишенным способности самозабвенно переключиться с себя на Тему. Поэтому ей оставались лишь безликие, случайные темы, выполняемые более или менее квалифицированно. Так оно и вышло. А тогда она с облегчением согласилась и тут же стала советоваться со мной, не остановиться ли ей на испанском романе, не помню уже, которого века: вчера в журнале ей попалась потрясающая статья на эту тему и возникли кое-какие соображения, весьма оригинальные... Маме тогда почудилась в Стелле недобрая зависть. И мама за меня испугалась. Меня же "испанский роман" испугал другим: Стелла совершенно не поняла, о чем я говорю.

Третьим /не первым ли?/ был некий доктор филологических наук В-й, по странной игре случая почти однофамилец паренька, подслушивавшего у палатки. В свое время он сидел в тюрьме вместе с отцом моего однодельца, художником, и был выпущен в Алма-Ате досрочно. Профессор называл нас своими друзьями, чем весьма нам, второкурсникам, льстил: значит, работы чего-то стоят! Он беспрестанно удивлялся тому, что в эпоху, когда все вокруг преимущественно "мироощущают", мы, как он любил повторять, "мировоззреем", и притом — оригинально и независимо /это было тогда не более, чем льстивой гиперболой/. "Откуда вы такие взялись"? — без конца повторял он, листая наши тетради. Не исключено, что задавал он этот вопрос, пытаясь обнаружить что-то на нас влияние. Следовательно тоже долго над этим бился.

...Несколько документов мне было страшно читать в нашем "Деле": обвинительное заключение на 10 страницах, где были фразы типа: "...раскрыта и оперативно уничтожена органами государственной безопасности подпольная антисоветская группировка, занятая контрреволюционной подрывной деятельностью..." И доносы профессора, деловито-сухие и вместе с тем уничтожительно-злые. Они были подлыми в каждой своей интонации, потому что за каждым словом я видела его дружескую улыбку, слышала меткие замечания, различала мысли, подсказанные им самим, вспоминала его интерес, более того — его симпатию к нам, в которой не могла ошибиться. Не понимаю, почему от нас не скрыли его доносов. Забыли вынуть из "Дела"? А может быть, это были и не доносы, а свидетельские показания, данные под угрозой второго ареста? Так или иначе — его сломали: он ненавидел "их", а предал нас.

Впрочем, может быть, он и нас ненавидел за то, что мы еще не были сломаны, еще не имели случая испытать себя на излом. В моем отце они сломали желание жить, в профессоре — способность сопротивляться. Позволю себе процитировать то, что я писала о нем через двадцать лет. Характеристика эта кажется мне близкой к истине: "Наш добрый доктор в лагерной трясине сам до того отгрохал десять лет, но не повис

Иудой на осине, а до сих пор читает свой предмет.* Он говорит о Блоке, о Толстом. Он не из ловкачей и не из выжиг. Стал стукачом — поэтому и выжил. И до сих пор кладет листки на стол тому, кого боится пуще смерти и ненавидит до зубного зуда, на тех, кого — хоть верьте, хоть не верьте — он любит, хлипкий сталинский иуда..."

...Однажды Стелла рассказала мне, что В. познакомил ее с молодым пограничником, красавцем и умницей. Сначала она очень много о нем говорила: то она обсуждала с ним какие-то наши, ее или мои, соображения о советской жизни, и он, сначала резко против них возражавший, с нами в конце концов согласился; то они говорили о Пастернаке и Маяковском и пограничник разделил ее и мои неортодоксальные взгляды на их отношение к революции. Он дарил ей цветы и ко дню рождения преподнес золотую цепочку. А когда он уехал в командировку, то заботливо оставил ей свою продуктовую карточку в закрытый распределитель. Она со дня на день собиралась нас познакомить... А потом замолчала, похудела и потускнела. На мои вопросы о ее друге отвечала что-то о его длительной командировке. К тому времени относится и эпизод с моими черновиками, опять испугавший мою чуткую ко всякой опасности и фальши мать.

Войдя неожиданно в комнату /меня не было дома/, мама увидела, что Стелла поднимает и складывает в сумочку клочки каких-то моих заметок. Мать забрала у нее обрывки и, когда я вошла, сделала мне выговор за то, что не выметаю мусор из-под стола. Мама вспоминала об этом эпизоде всю жизнь. Я же удовлетворилась тогда объяснением, что, зная мое безразличие к неудавшимся или не пригодившимся мне наброскам, Стелла хотела проверить, не выбросила ли я чего-нибудь стоящего. Она тогда потеряла свою хлебную карточку и жила у нас до получения новой.

Приблизительно через месяц после случая с черновиками Стелла пришла ко мне в страшном смятении. В это время семья наша уже начала готовить документы для возвращения из эвакуации в Харьков. Стелла сбивчиво уговаривала меня

* Уже не читает: умер.

ускорить выезд, умоляла срочно покинуть Алма-Ату. Она несла несусветную чушь — о грозящей городу селевой лавине, о возможности нападения китайцев...

"Послушай, — спросила я, — почему ты говоришь обо мне одной? А мама, а брат, а вы все? А город?"

"Ты мне дороже всех, — отвечала она. — Я думаю о тебе".

Она ушла, а на другой день явился тот самый тип, которого физматовцы поймали под своей палаткой, и протянул мне с порога пятьсот рублей:

"Стелла просила, чтобы ты взяла эти деньги и уехала из Алма-Аты. Скажешь мне, когда ты решишь уехать, и я достану билет. У меня есть приятель в кассе".

С билетами было чрезвычайно трудно.

Я отказалась от его денег и от его помощи. В его приходе я впервые почувяла приближение какой-то серьезной опасности. Может быть, потому, что, разговаривая со мной, В. смотрел мимо меня, словно прятал глаза...

Стеллу взяли на несколько часов раньше, чем нас, и вроде бы продержали три дня во "внутренней". Вернувшись, она пришла к нам домой и неловко пыталась объяснить маме и брату, почему ее выпустили.

"Вы их предали, — сказала ей моя мать. — Иначе вы остались бы с ними, в тюрьме".

Стелла ушла, забрав самую дорогую мне книгу — однотомник Пастернака, общую собственность — мою и погибшего на фронте друга, с его надписью и комментариями.

После освобождения, в 1960-х гг., мне начали изредка попадаться ее небольшие литературоведческие и критические заметки в столичных журналах. В 1970 году я попыталась разыскать ее в Москве, чтобы забрать свою книгу. Мне и поговорить с ней хотелось: по сей день надеюсь, что ее предательство было случайным и выстраданным. Мало ли, как мог опутать ее, девятнадцатилетнюю дочь расстрелянного и арестантки, тот "пограничник"? Мне дали в Мосгорсправке листок: оказалось, что Стелла к тому времени уже умерла от инфаркта, не дожив до сорока пяти лет.

(Окончание в следующем номере)



Аркадий ЛЬВОВ

ВЕДИ ЗА СОБОЙ ОТЦА ТВОЕГО

Во дворе раздался крик:

— Евреи, расступитесь, евреи, дайте проход: кантору сделалось плохо!

Отец был внутри, в синагоге, а мы с мамой стояли снаружи, у дверей. Мне было семь лет, был вечер Йом Кипур, — мама объясняла мне: Йом Кипур — это Судный день, надо вспомнить всех близких, в первую очередь, бабушку, дедушку. Бабушки, Рива и Малка, умерли своей смертью, обе молодые, один дедушка, Хаим, мамин папа, тоже молодой, умер своей смертью, а дедушку Арку, папиного папу, убили петлюровцы, украинские бандиты. Дедушка Арка был очень сильный, рост два метра, он один мог поднять задок телеги, груженной зерном, но что он мог сделать своими голыми руками против петлюровцев, у которых были пулеметы, были ружья, сабли. Петлюровцы убили двести тысяч евреев, если бы можно было собрать всю кровь убитых и вылить в наше Черное море, то вода в море сделалась бы красная.

— Евреи, расступитесь, кантору так плохо, что он может умереть!

Был вечер Судного дня, огромное багровое солнце садилось в конце Еврейской улицы, солнце было окрашено еврейской кровью, мне было страшно, со всех сторон меня теснили люди, в талесах, с рыжими бородами, с толстыми, узловатыми, как корни деревьев, пальцами, мама кричала, осторожно, вы задушите ребенка, а они говорили, мадам, здесь все свои, здесь нет гоим, ваш ребенок будет живой и невередимый, дай Бог ему сто двадцать лет жизни.

Кантора несли на руках, высоко подняв над головой, талес, белый шелк, по шелку черные полосы, волочился по земле, женщины закричали, пусть вызывают скорую помощь, а то человек может ни за что, ни про что отдать Богу душу, старики зашикали на них, пусть закроют свои грязные рты: если человек умирает в синагоге, значит, Богу так угодно, и такому человеку можно только завидовать, а не звать докторов на помощь.

Кантор не умер, кантор пришел в себя, люди вокруг говорили, что он хочет продолжать службу, но это была уже крайность, ненужная крайность: из синагоги, изнутри, донеслось пение — нашелся другой кантор, который начал как раз с того места, где остановился тот, которому вдруг сделалось плохо.

Через год синагогу закрыли. Здание синагоги отдали музею природоведения. Главные экспонаты здесь были деревянный Иисус, насквозь пробитый гвоздями, скелет слона и двухголовый теленок.

Это было странное время, середина тридцатых годов, меня определили в русскую школу, в самом центре Одессы, в пяти минутах ходьбы от Дерибасовской улицы, на Александровском проспекте, но через месяц несколько классов из нашей школы перевели в другую школу, директор этой школы построил нас в рекреационном зале и произнес речь: "Дорогие дети, советская власть сделала нас всех равными — русский, еврей, украинец, — не имеет значения — у нас в Одессе половина населения евреи, и мы все должны изучать в школе наш родной еврейский язык, как мы учим русский язык и

украинский язык". Зал дружно засмеялся, я смеялся вместе со всеми и передразнивал директора, который произносил букву "р" так, как мог произносить только еврей из Касриловки.

Через несколько дней наробраз прислал в школу нового директора, Алексея Ивановича, который произносил букву "г" с придыханием, как говорят в украинской деревне, но никто не смеялся, потому что многие наши учителя говорили точно так же. Алексей Иванович тоже собрал нас в зале и объяснил, что раньше наша школа, девяносто вторая, была еврейская, но родители не хотели посылать своих детей в еврейскую школу, и теперь здесь будет русская школа, потому что с русским языком нам открыты дороги по всему Советскому Союзу, а еврейский язык отмирает: на идиш теперь говорят только старики и старухи и приезжие из Клейн штетлз.

Алексей Иванович не был антисемитом, жена его, Клавдия Исааковна, учительница русского языка, была еврейкой; во время войны, когда пришли немцы и румыны, Алексей Иванович прятал ее и спас ей жизнь, в то время как двадцать тысяч евреев в первые дни оккупации были расстреляны в Одессе, а в декабре сорок первого года еще пятьдесят две тысячи были вывезены из города и расстреляны в селе Доманевка, и среди них сотни и тысячи, у которых мужья и жены были русские, украинцы, поляки, которые сами заявлялись в сигуранцу и гестапо, чтобы донести на своих жен и мужей. Папин младший брат, дядя Йосл, который после смерти своей жены Голды женился на немке — они жили в одном селе немецкой колонии Цебриково, недалеко от Одессы, — тоже погиб вместе со своими тремя детьми, старшему было семь лет, потому что его жена в первый же день оккупации привела в дом немецкого офицера и сказала: "Вот они, жид со своими жиденятами, возьмите их".

Я немножко забежал вперед, но, строго говоря, это только кажется, что вперед: события, когда они отходят в прошлое, выстраиваются в нашей памяти по-своему, и, заговорив про нового директора школы и про своего дядю Йосл, я вспомнил себя тогдашнего, вспомнил свое удивление по поводу того, что

у Алексея Ивановича жена еврейка, а мой дядя, родной брат отца, женился на немке, хотя все ему говорили, что ничего хорошего из этого не выйдет, а он отвечал, не только мы, а наши отцы и деды жили сто лет рядом с немцами и слава Богу жили неплохо.

В общем, ничего особенного в том, что евреи женятся и выходят замуж за неевреев, не было. За примерами не надо было далеко ходить, примеры были рядом, у нас во дворе, среди соседей, но почему-то я всегда об этом думал, думал как о чем-то необычном, хотя, повторяю, ничего необычного в этом не было. Сейчас я вспомнил, что и двоюродная сестра моего отца, декан английского факультета в Одессе, вышла замуж за русского, и ее родной брат Хуна, впоследствии полковник, женился на русской, и все-таки при всей своей обыденности эти факты выстраивались в моем сознании в какой-то особый ряд и годы спустя, когда я стал уже студентом университета, позднее был исключен с тяжелой мотивировкой — "за клевету на советский народ и еврейский буржуазный национализм" — я сделал, неожиданно для себя, открытие: с ранних детских лет я безотчетно делил мир на евреев и неевреев. Никто, ни папа, ни мама, которые дома между собой говорили на идише, а с детьми, со мной и моей сестрой, исключительно по-русски, не учили меня этому, в синагогу ходили только по праздникам, насчет Бога говорили неопределенно — наверное, что-то такое есть! — и, тем не менее, я не помню ни одного дня своей жизни, когда бы я не думал: я — еврей!

В сущности я совершенно не знал еврейской истории, но однажды осенним вечером, мне было восемь лет, я стоял один у ворот нашего дома, высоко в небе мерцали звезды, у меня возникло странное ощущение: мне не восемь, мне две или три тысячи лет, вокруг простираются пески, передо мною море, длинной чередой идут люди, на восток, солнце бьет им в глаза, и среди этих людей я, изможденный, голодный, как все они, иду домой, и дом мой на берегу реки. Что это было: память предков? Или известное в живом мире явление онтогенеза и филогенеза, когда отдельная особь проходит все стадии развития предшествующих поколений? Или просто отзвук рассказа об

исходе евреев из египетского плена? Не знаю, во всяком случае, я не думал ни о Моисее, ни о египетских фараонах, которые держали евреев в рабстве, к тому же я не имел ни малейшего представления о географии священных для евреев мест Исхода. И, наконец, откуда оно, это странное для мальчика восьми лет ощущение, что ему две или три тысячи лет!

Мистицизм был мне чужд, я не увлекался оккультными науками, я всегда, даже впоследствии, когда стал писателем-фантастом и рассказывал о необычных, сверхчувственных явлениях, старался объяснить их с точки зрения естествознания и здравого смысла. Много раз, особенно в моменты тяжелых душевных кризисов, я стремился придти к Богу, но всегда это был приход не к Иегове, то милостивому, то гневному, с которым наши праотцы заключили завет, а приход к Абсолюту, который не ведает ни добра, ни зла, который отождествлен со Вселенной, словом, не зная еще самого имени Баруха Спинозы, приходил к Спинозианскому Богу.

И вот, при всем том, это странное, по общепринятой терминологии, почти мистическое ощущение: я не мальчик, я не старик, я вообще не человек, потому что мне две или три тысячи лет, а люди ни три, ни даже две тысячи лет не живут.

С того осеннего вечера прошло более сорока лет, но постоянно, на протяжении всей жизни, я возвращаюсь к нему: именно оно, загадочное тогдашнее видение, дало мне непреходящее ощущение моей древности, чувство корней, уходящих в глубины веков, и мучительное сознание вечного, неизбывного долга перед людьми. ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН! — вот мысль, которая постоянно сверлит мой мозг.

Летом семидесятого года партийное бюро Одесского отделения Союза писателей затеяло против меня дело по обвинению в сионизме. Я был объявлен резидентом международного сионистского центра в Варшаве и главарем сионистского подполья в Одессе. Доносы были адресованы Комитету по прессе в Киеве, обкому партии и КГБ. Делом занялся одесский начальник КГБ генерал Куварзин. Журналист, главный редактор Хабаровской краевой газеты на Дальнем Востоке,

в 1951 году, во времена Сталина, он был переброшен на работу в органы госбезопасности, которым для борьбы с интеллигенцией, в первую очередь еврейской, требовались свои "интеллигенты". Это были зловещие годы, когда Сталин задумал план массовой депортации евреев на Дальний Восток, точнее, массовой ликвидации евреев. Не знаю, каковы были конкретные заслуги Анатолия Ивановича Куварзина, во всяком случае, на новом поприще он чрезвычайно преуспел и уже в шестидесятых годах вышел в генералы — в практике ГБ явление достаточно редкое.

Мои "беседы" с генералом Куварзиным заняли в общей сложности шестнадцать часов. Я выходил из его кабинета совершенно обессиленный, опустошенный, все тело неимоверно, как будто били меня палками, болело — состояние, хорошо известное каждому, кому приходилось сохранять абсолютное внешнее спокойствие на протяжении долгих часов, когда гебист, протирая свои очки в золотой оправе, между прочим, приговаривает: "Как бы не застрять здесь!"

О гебешниках мне приходилось слышать всякое: они и глупы, и невежественны, и притворяются осведомленными, хотя на самом деле ничего и никогда не знают толком.

Увы, не могу сказать этого о генерале Куварзине. Он знал обо мне много, он вспоминал слова, которые я произносил лишь в кругу самых близких друзей — позднее я узнал, что один из них, преподаватель консерватории, который искренне меня любил, одновременно обретался в сексотах, — он читал все мои книги и, глядя мне в глаза, говорил: "Эстетически вы талант, но граждански вы нас не устраиваете". И заканчивал уже знакомым мне рефреном: "Как бы не застрять!"

Я не был ни резидентом Варшавского сионистского центра, ни главарем сионистского подполья в Одессе — такое реноме сослужило бы мне неплохую службу теперь, в годы эмиграции, но, как говорят евреи, нет так нет! — я был писателем, я был автором рассказов об Одессе, героями этих рассказов были не коммунисты, а простые, маленькие люди, которые любили жизнь, любили свою Одессу, которые шутили, и смеялись, и плакали, как шутят, смеются и плачут спо-

кон веку одесские евреи. Употребив эти слова — спокон веку — я хочу объяснить, что евреи жили в Одессе, когда еще не было здесь ни украинцев, ни русских, когда еще не было самой Одессы, а был турецкий город Хаджи-бей, и, коль скоро мы заговорили о старине, уместно вспомнить и первый еврейский погром, который случился, правда, не здесь, на юге, а в Киеве, в 1113 году, и еще более древние века, когда от Волги до теперешней Одессы простиралось иудейское царство Хазарский каганат со своими царями-евреями Обадией, Манасией, Завулоном, Исааком, Аароном, простиралось на тех самых землях, где впоследствии возникло первое государство восточных славян, Киевская Русь, а много позднее, совсем уже недалеко от наших дней, Россия, или, как ее называли, Российская империя.

Генерал Куварзин сказал:

— Ваши книги еврейские, пропитаны еврейским духом.

Я удивился: "Почему еврейские? Я русский писатель, моя главная книга — "Большое солнце Одессы" — вышла в Москве, в издательстве "Советский писатель", директор этого издательства Николай Лесючевский — известный антисемит, рекомендовал мою книгу к изданию Константин Симонов, редактор книги Юрий Рюриков, сын Бориса Рюрикова, который при Сталине был одним из руководителей идеологического отдела ЦК. Выходит, все они...

— Да, — прервал он меня, — все они заражены еврейским духом. Интерес к маленькому человеку, в ущерб генеральной линии партии, любовное копание в психологии этого маленького человека, который на самом деле мещанин, филистер, и есть ваша особая еврейская черта. А в ваших книгах маленький человек, как вы и ваша критика называют местечкового обывателя, заполонил каждую страницу. Я повторяю: ваши книги еврейские. Нашими данными не подтверждаются обвинения, которые выдвинули против вас ваши коллеги-писатели, но в своей общей реакции они, безусловно, правы: вы еврейский писатель, и ваши книги, повторяю, пропитаны еврейским духом. Местечковым, раввинским духом.

Я слушал его внимательно — в общем, он был прав, действительно, у всех моих героев-евреев было специфическое мироощущение, специфически еврейская ментальность, с гипертрофированной склонностью к рефлексии, с извечной еврейской болью не только за себя, но и за ближнего, с тысячелетним, заповеданным нам праотцами нашими, отвращением к насилию, к крови, с неутолимой жадой насмешничать, в первую очередь, над собой, над своими сородичами, — и тут вдруг осенило меня: а почему, собственно, я должен отрицать это, почему должен я оправдываться, почему не сказать прямо, да, я еврей, не русский, не украинец, не армянин, не грузин, я еврей, и чувствую, и мыслю, и пишу как еврей — что преступного в этом? Почему должен я быть чем угодно, кем угодно, только не самим собой?

Первый раз я открылся, первый раз заговорил горячо, не таясь, я думал, он оборвет меня — ага, не выдержал, попался! — но нет, он не обрывал, он выслушал меня до конца и спокойно сказал:

— Вот в том-то и дело, что вы еврей, хоть говорите по-русски и пишете по-русски.

Эти слова, что я еврей, хоть говорю и пишу по-русски, он повторял, как заклятья, еще много раз. Однажды наш разговор прервал телефонный звонок, он помрачнел, видимо, неурочное, взял трубку — на столе у него, кроме телефона, не было ничего, даже блокнота, даже карандаша — но тут же весь просиял и произнес с необыкновенной теплотой, не только теплотой, но и явным почтением: "Да, Рудольф Иванович, буду, обязательно". Потом нажал красную клавишу, не называя себя, не называя абонента, сослался на утренний разговор и закончил в три слова: исполнение отвечаете лично.

Я не выдержал, спросил: "Рудольф Иванович — это кто, Абель?"

Да, это был он, недавно еще отбывавший свои десять лет в американской тюрьме, знаменитый советский шпион Рудольф Абель, которого Кремль выменял на Пауэрс, пилота злополучного У-2, сбитого — кстати, евреями-ракетчиками! — над Уралом.

Я сказал: "Полковник Абель, если не ошибаюсь, немец или наполовину немец".

Куварзин уставился на меня — глаза были нехорошие, было впечатление, он с трудом держит себя в руках, — и ответил, чеканя каждое слово: этот полковник стоит генерала, он настоящий чекист, настоящий русский, — остановясь, он повторил снова, как будто одного раза было для меня недостаточно, — настоящий русский человек.

Он зря опасался, я понял: немец, полунемец, и все же настоящий русский, свой, не по крови, так по духу — не чета нам, евреям.

Три года спустя, в апреле семьдесят третьего года тогдашний председатель Президиума Верховного Совета Украины Иван Грушецкий во всеуслышание, с трибуны партийной конференции, вновь обвинил меня в агентурных связях с зарубежными сионистами, и я был занесен в черные списки: меня перестали печатать. Перестали печатать, но не перестали уговаривать партийные хозяева Одессы: перестройтесь, подымитесь над собой, работайте с нами и вы получите все — новую квартиру машину, и опять будете печатать свои книги.

Дачу на Большом Фонтане мне не обещали: дача у меня уже была.

Кому не хочется ходить в героях: я мог бы сказать, что бросил им гордое, полное презрения "нет!", я мог бы сказать, что сознательно не хотел с ними сотрудничать, не хотел получить всех тех благ, из-за которых люди продают свои души не только в СССР и не только коммунистам. Но сказать "не хотел" значит сказать неправду. Я не не хотел, я не мог с ними сотрудничать: сотрудничать с ними значит отказаться от своего детства, отказаться от того осеннего вечера, когда внезапно, на всю свою жизнь вперед, я постиг связь со своими пращурами, отказаться от себя, еврея, облечься в чужую плоть, обрядиться в чужие одежды, и самое главное — отдать им своего маленького сына! Он не знал и уже никогда не узнает еврейской Одессы своего отца: евреи, цвет Одессы и добрая половина ее населения до войны, составляют теперь едва ли пять процентов тысячи евреев, с искалеченными ду-

шами готовы стать — и стали! — караимами, украинцами, русскими, болгарами, молдаванами, гагаузами, арнаутами, кем угодно, только бы не оставаться евреями, только бы без проклятой пятой графы! И что же: обрели они счастье, обрели покой, обрели простое благополучие? Обрели, как говорила моя покойная соседка мадам Сорокер, чтоб им обреталось уже на том свете, этим мешумедам! Старуха Сорокер была права: оборотни, мешумеды не обрели счастья, вечный страх разоблачения, муки притворства, презрение собственных родичей и стократное презрение нового стада, к которому они перебежали, — это лишь начало счета, по которому они платят и будут платить до гробовой доски.

Нет, я не хотел перестать быть евреем, но "не хотел", повторяю, не главное, главное — я не мог перестать быть евреем.

Сегодня — уже не там, в России, уже здесь, в Америке, — я опять говорю себе: я должен писать о евреях, я — еврей. Хотя, постойте: с точки зрения хасида, даже не хасида, а ортодокса, консерватора, разве я еврей, разве не гой? Я не верую в Бога праотцев моих, я хожу в синагогу по праздникам, а если в будний день — значит, у меня тяжело на душе и просто хочется потолочься среди своих, среди евреев, четырнадцатилетним мальчиком, во время войны, я сам выучился читать на идише, но прошли годы, голова была забита другим, и теперь я должен учиться опять, но чему: идишу, ивриту? А английский? Как ни крути, как ни верти, а в первую очередь, он, английский. Ну, так кто же я: еврей или нееврей?

Среди моих соотечественников в Америке, в Канаде, в Израиле немало тоскующих по родине, а Родина — Россия. Одесские евреи сочинили анекдот: для тоскующих в Израиле открыт кабачок "Ностальгия", каждый посетитель получает сто пятьдесят граммов водки, кусок соленого огурца и коленом под зад: "Пошел вон, жидовская морда!" А это уже не анекдот: тоскующие евреи здесь, в Америке, переходят в православие, ставят у себя дома, в углу, образок, лампадку и крестятся, и бьют поклоны так, что иному православному от рождения не грех позаимствовать. По части политической

единства у них нет: одни — за монархию абсолютную, с батюшкой-царем, как повелось издревле на Руси, другие — за конституционную, но, конечно, без англо-саксонских крайностей.

Тут надо оговориться: их немного, этих прозелитов, которые не чураются иудейства, коль скоро можно пожить от щедрот еврейской общины, а в кругу православных распинаются так — вся большевистская зараза от жидов, жида загубили Русь! — что у тех, натуральных, зубы ломит.

Немного их, прозелитов, это верно, однако же, не призраки, не фантомы они, а реальность, и чего же стоит тогда наша еврейская ментальность, которая дана нам от отцов наших! Отвечая на этот вопрос, мы рискуем, как ребе из Балты у Ильи Эренбурга — у того самого Эренбурга, который вкуче с поэтом Минским, тоже евреем, до революции перешел в католичество, а в годы войны активничал в советском Антифашистском Еврейском комитете, — увязнуть, едва подняв ногу для первого шага. "Вначале было Слово, — сказал ребе. — Давайте разберем, что такое В н а ч а л е". Дальше ребе не двинулся.

Да, есть евреи, и не только в России, которые отворачиваются от своего еврейства, — есть, были и будут. Но бывают же на свете и двухголовые телята, и одного из них, как было сказано, я видел своими глазами в одесском музее природоведения на Еврейской улице, где раньше была синагога. В биологии эти монстры имеют свое название: мутанты. В человеческой психологии есть свои монстры, тоже мутанты.

Итак, опять: что же такое еврейская ментальность?

Десятилетним мальчиком я выискивал евреев среди ученых, среди писателей, среди политических деятелей и — юный пионер! — прежде всего, среди членов правительства. Сталин всегда был на первом месте, Молотов — на втором, на третьем месте одно время был Лазарь Каганович, впереди Ворошилова и Калинина. Я не имел ни малейшего представления о тайных пружинах партийно-правительственной иерархии, но я точно знал, что третье место лучше четвертого или пятого, и я гордился сталинским наркомом Кагановичем,

о котором многие годы спустя узнал, что он был ничуть не лучше того, при ком состоял наркомом. Я гордился Свердловым, гордился Урицким, которые были соратниками Ленина, гордился Троцким — да, да, Троцким! — про которого в газетах говорили, что он враг народа, а папины знакомые, которые лично видели его и слышали, говорили, что он самый великий оратор, какого только знал мир. В четвертом классе я узнал, что канцлером Петра Великого был Остерман, я был уверен, Остерман — еврей, оказалось, я ошибся, Остерман — немец, было чувство досады, чувство потери, но вице-канцлер Шафиров был действительно из евреев, и я говорил всем с гордостью: Шафиров — еврей.

Про Карла Маркса известно было, что он выкрест, но, Боже мой, какое это могло иметь значение, если Ленин черным по белому написал: отец его был адвокат, еврей. Позднее уточнилось, что и сам Ленин по материнской линии был из евреев. Ага, так вот откуда его знаменитое: "Погромщиков ставить вне закона!"

Потом в моей голове перемешалось все — Иосиф Флавий, Филон Александрийский, Иегуда бен Галеви, Маймонид, Уриэль д'Аоста, Бенедикт /он же Барух/ Спиноза, Гейне, Мендельсон, который мучительно стыдился своего еврейства, Дизраэли, Георг Брандес, Левитан, величайший скульптор России Антокольский, Эйнштейн, Кафка, Фройд, Пруст /по матери, пусть по матери, но еврей! — друзья — неевреи зубоскалили в мой адрес: ты забыл корсиканца, великого корсиканца!

Отец мой, начитанный человек, но самоучка, школьное образование — хедер, относился к моим изыскам спокойно — евреи так евреи, — мама боялась, мама говорила, это политика, а политика к добру не приводит.

В еврейском театре показывали "Тевье-молочник", "200 тысяч", "Блуждающие звезды" Шолом-Алейхема, "Путешествие Вениамина III" Менделе Мойхер-Сфорима, "Колдунью" Гольдфадена — это были не пьесы, это был кусок моей собственной жизни, дома, в школе, на улице я продолжал разговоры с Тевье, с Рейзл, с Гоцмахом, с уродливой кишмаерин, у которой был мужской голос, хриплый, как у одес-

ского биндюжника. Они были другие, из другого времени, но они были похожи на евреев, которые жили у нас во дворе, жили на соседней улице и на Молдаванке, знаменитой своими нищими и своими бандитами. У этих бандитов, аристократов Молдаванки, был свой король, Бенья Крик: это имя дал ему Исаак Бабель. Подданные же нарекли его Мишкой-Япончиком, а по рождению он был Моисей Винницкий.

Гэвэл гаволим, кулой гэвэл! Все прах и суета в этом мире, и что умерло, то умерло. Одесса не возвращается.

Но, Боже мой, что делать мне с душой своей, которая живет, которая жаждет, которая горит дни и ночи, и пепел предков стучит в мое сердце: ты еврей!

Десять лет назад я задумал роман об Одессе, четыре тома. В те дни, когда генерал Куварзин грозил мне — как бы не застрять! — я писал этот роман. Исправно, каждую неделю, а бывало, и через день, через два, ко мне заходил мой друг из консерватории, мой почитатель. Ни факты, ни логика не давали повода подозревать, но сердце твердило свое: он — сексот! Я оставлял на столе рукописи — рассказы из одесского быта, научную фантастику, — я оставлял его одного в комнате: пусть читает. Он читал и доносил, он и его хозяева были убеждены: они знают обо мне все, в каждый свой визит "их" человек читал новые страницы, страниц было много, и они не допускали мысли, что, кроме этих страниц, могут быть и другие.

Два тома этого романа — "Двор" — я написал в Одессе, мой друг Исаак Давнер, архитектор, преподаватель строительного института, снял рукопись на фотопленку, микрофильм спрятал в колодке гардеробной щетки и вывез в Америку. Минувшим летом роман вышел во Франции на французском языке.

Я должен написать еще два тома, две книги о том, как кончилась еврейская Одесса, как свершался Исход евреев из земли, куда их прапраотцы пришли пятнадцать веков, полторы тысячи лет назад.

Эмиграция есть эмиграция. Как говорил одесский ребе Иосиф Димент, все на свете имеет свои "да" и свои "нет".

Но вечером, когда мой десятилетний сын возвращается из иешивы и пишет за столом свои первые рассказы на иврите, теми самыми буквами, которые в голодные годы войны и эвакуации я выучил сам по брошюре на идише, о том, как евреям было плохо в царское время и как им стало хорошо при советской власти, когда, слегка покачиваясь, сын мой читает Хумаш, когда утром он кладет свои книги в ранец и надевает кипу, душа моя млеет и хочется мне сказать моему сыну: иди, мой сын, дорогой предков твоих и веди за собой отца твоего.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, общается о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче"

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Цена в розничной продаже — 8 лир. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

J. TVERSKY. Antiquarian bookseller
20. Shenkin St., Tel-Aviv, P. O. B. 4356, Israel

КНИГИ, ПЕРЕИЗДАННЫЕ ТИРАЖОМ 200 ЭКЗ. ЦЕНА В US. \$

ЮДАИКА

АМИТИН-ШАПИРО З. Очерк правового быта средне-азиатских евреев: 1. Правовое положение и формы общин. 2. Брачное и семейное право. 3. Наследственное право. 4. Приложения: документы и устав. Самарканд, 1931 г. (16 долл.)

АНОНИМ. Слово подсудимому с письмами Толстого, Соловьева, Короленко, Чичерина. Обмен письмами между великими русскими писателями по еврейскому вопросу в России. СПб, 1891 г. (16 долл.)

АНТОШЕВСКИЙ И. Евреи христиане. Историко-генеалогические заметки. Список и краткие биографии всех евреев, перешедших в христианство. СПб, 1907 г. (10 долл.)

БУХБИНДЕР Н. Материалы для истории еврейского рабочего движения в России. Выпуск 1. Биографии участников еврейского рабочего движения. Петроград, 1922 г. (15 долл.)

ВЕШНЕВ В. Неодоленный враг. Сборник против антисемитизма. Составил: Вешнев. Очерки, статьи и повести: Айзмана, Ан-ско-го, Бабеля, Багрицкого, Д. Бедного, Ларского, Рейзена, Серафимовича, Фадеева, Юшкевича и др. В книге описываются факты антисемитизма в Советском Союзе. Москва, 1930 г. (18 долл.)

ГАФУР ГУЛЯМ. Иду с Востока. Поэма "Я еврей". (Ответ Гитлеру) и другие стихи. Ташкент, 1947 г. (5 долл.)

ГИНЗБУРГ С. Отечественная война 1812 г. и русские евреи, с портретом раввина Шнеер-Зальман Шнеерсона, с иллюстрациями того периода. СПб, 1912 г. (16 долл.)

ГОЛЬДЕ Ю. Евреи-земледельцы в Крыму. 1. Общие сведения о Крыме. 2. Евреи-земледельцы. 3. Порядок переселения. 4. Права и льготы. Москва, 1931 г. (5 долл.)

ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 году. Составлена по официальным документам и опросам пострадавших. В книге напечатано послесловие М. Горького, нигде до сих пор неопубликованное. Книга была издана всего в 50 экз. Петербург—Берлин, 1921 г. (18 долл.)

ЕВРЕИ В СССР. Материалы и исследования. В сборник включен материал по вопросам: 1. Социальный состав еврейского населения. 2. Перспективы использования трудовых ресурсов еврейского населения. 3. Численность и географическое размещение еврейского населения по полу, возрасту и грамотности. Свыше 100 таблиц и диаграмм. Москва, 1929 г. (10 долл.)



ГЛАЗАМИ МИЛЮКОВА — оккупация Франции и Восточный фронт

Письма П. Н. Милюкова Я. Б. Полонскому /1940 - 1942/

9 апреля, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

На тему о моем здоровье вот Вам желаемый "бюллетень". Давление — в два последние посещения врача — 17 и 20. Но он этому подъему не приписывает значения. Пульс нормальный; к вечеру есть небольшие перебои. Никаких затруднений в дыхании. Он сделал прокол, чтобы посмотреть, остался ли экссудат в плевре; осталось немножко — и второго выпуска не нужно. Никаких серьезных изменений до конца месяца не предвидится. Я уже выхожу каждый полдень в столовую к обеду, а в солнечные дни мне разрешено прогуливаться по соседней улице на ровном месте. Переспросив Ниночку о моем возрасте, он воскликнул: *étonnant!*

Насчет продовольствия — хуже с каждым месяцем. Если бы не хлопоты Ниночки насчет добавления, совсем бы изго-

лодались. Устала она страшно из-за ухода за мной и из-за путешествия за припасами.

Я тоже получил два письма из Америки — от 6-го и от 10 марта: от Алданова и Карповича. М. А. сообщает, что по Вашему указанию первый номер "Нового Журнала" был послан в Ниццу по адресу Репникова. Второй — выйдет в апреле, третий готовится к сентябрю, — и он просит моей статьи для последнего. Первый был напечатан в 500 экз. и разошелся в месяц. Он пишет и о банкете в 200 человек с "овацией" мне. На газету было собрано 23 000 долларов, а если бы был я там, то добрали бы до необходимой суммы, и был бы прав М. А., а не я. Он продал "Начало конца" и собирается продать книгу обо мне, для которой просит моих "воспоминаний", а Пахметьев предлагает продать их за 500 долларов в какое-то "ученое учреждение". Но копии у меня нет, оригинал посылать боюсь, а продать для хранения в архив — не собираюсь.

Карпович пишет, что моя книга /II ч. "Очерков"/ вышла в феврале в трех томиках, по указанию издателя, а М. А. сообщает о "лестных рецензиях" на нее. Моя рукопись /первые 4 главы/ едет в Америку с оказией и будет получена в апреле, а вторая половина, которую доделывает Гиммельштейн, попадет туда, вероятно, в мае, вместе с испанским переводчиком.

Ваши печальные известия о наших эмигрантах в Америку я передал Ек. Дм.*

Новый этап нашествия едва ли будет удачен, несмотря на все приготовления соседа, и, во всяком случае, не сможет быть решающим, как он себе обещает. Последним он может быть, но отнюдь не в ожидаемом соседом смысле... Эластичному наступлению будет противопоставлено "эластичное" же отступление, которое, даже в ожидании противника, не будет ни "истреблением", ни вычеркиванием с карты Европы, а только "отдалением" от границ, которые принято считать европейскими, словом, переход из мажора в минор становится все более очевидным. Будем надеяться, что и такого минимального успеха противник не добьется. Сильнее

Окончание. Начало см. в 51 номере.

* Екатерина Дмитриевна Кускова, правая социал-демократка /см. 51 номер/.

прошлогодного его ресурсы — и в особенности, его людские запасы — быть не могут, а заимствования у союзников большой силы прибавить не смогут. Если Япония выдержит свою политику "дружбы" с СССР, то возможно, что исход европейского конфликта удастся отделить от тихоокеанского.

Книгу я свою закончил скромными, но твердыми пожеланиями продолжения начатой эволюции в СССР в раз намеченном направлении, которое является теперь неизбежным — даже независимо от исхода конфликта.

Источник небесной манны продовольственных посылок от "американских друзей", на который Вы намекали, выяснился из письма М. А. Его супруга и Мария Самойловна были инициаторами и исполнителями проекта. Очень это нам помогло в свое время. Не знаем, как это было организовано в Лиссабоне, но были бы не прочь возобновить приток на наши собственные средства.

Ек. Дм. имеет известия из Америки, что там заботятся об их переселении. А она продолжает настаивать на нашем — в Швейцарию. И здоровье, и финансы этого не позволяют; но она не сдаётся. А как Вы теперь думаете об Америке? И вообще, меня Вы расспрашиваете, а сами не говорите, как Вам живётся. Приветы от нас обоим Вам обоим.

Ваш П. Милюков

P. S. От Полякова из Монпелье получил добавочные сведения об американцах. Ему пишет Цвибак, что он устроился в "Н. Р. Слово", что А. И. Коновалов работает в театральной конторе Юрока*, "чувствует себя бодро, проявляет много энергии", Вакар в Бостоне даёт уроки русского языка. Относительно самого Полякова Цвибак пишет, что за него внесено 150 долларов в Нью-Йорке и "отдано распоряжение о предоставлении бесплатного проезда". Он ждёт из Марселя подтверждения.

П.М.

* Юрок — известный американский театральный антрепренер.

Комментарий Полонского:

"Ваши печальные известия о наших эмигрантах в Америку я передал Ек. Дм.". — Эта фраза относится к моему письму, в кот. я передавал то, что мне написал Марк /Алданов/ в письме от 26/1 — что Коновалов перебивается временной письм. работой, Вакар не устроился, Делевский изредка печатает в "Нов. Р. Сл.", Соловейчик, Зензинов — пособия, Слоним за гроши читает лекции и т. д.

19 мая, 1942

Hôtel International
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Хотя Ек. Дм. очень настаивает на нашем переезде в Швейцарию, но мы об этом теперь вовсе не думаем, и известие о готовой визе неверно. Настояния продолжают, но я надеюсь, что теперь делу будет дан обратный ход. Пока, во всяком случае, следует предпочесть теперешнюю "оторванность". "Новый Журнал" наконец получен /1-й №/ в Женеве. Ек. Дм. о нем пишет: "Политика глупа до последней степени. Особенно Кер/енский/. Но хороша и интересна беллетристика и уголовная хроника Алданова: "Убийство Троцкого"* . Хотя все это мы знаем, но написано занятно. Нет сил читать Федотова, кот. велит евреям принять Христа и креститься /как не стыдно редакции помещать такую чушь?!/ и ответ Полякова-Литовцева: "Не будем креститься, мы горды, очень горды и т. д.". А я уже отвечал Алданову, что не желал бы встречаться с Кер/енским/ на страницах журнала. Федотова тоже не ожидал, как и Литовцевской пошлости. Удивляюсь Алданову.

Вы считаете отдаление наших "американцев" от Европы "парадоксальным процессом"? Но ведь это именно то, что должно было случиться — и что заставило меня воздержаться

* "Убийство Троцкого". Документальная повесть Марка Алданова, опубликованная в № 1 "Нового Журнала"; Л. Д. Троцкий был убит в Мексике 20 августа 1940 г.

от этого переселения. Американский колосс сам по себе давит и заражает собственной жизнью. А Европа оттуда — такая маленькая и непоседливая: неизвестно, из-за чего дерется! Переход наших левых эмигрантов от космополитизма к американизму совершается автоматически, за что, говорят, правые /не в пример Вашим/ там хотят класть свои головы за Россию! Е. Д. сообщает о "союзе белых и офицеров", превращающихся в возвращенцы!

Вопрос "самосохранения", конечно, может встать и потребовать решения. Но пока он еще не стоит на очереди. Все зависит от ближайших месяцев; а так как я не теряю оптимизма, то и о переселениях не думаю. Моя работа теперь, благодаря ниццскому сотруднику и испанскому профессору, предстанет в конце этого месяца или в начале следующего перед светлые очи моих работодателей, и от судьбы ее будет отчасти зависеть степень необходимости постановки вопроса для меня. О ее содержании знает и Сол. Влад.*.

О Фунд/аминском/ я уже осведомлен: это все та же федотовская линия Нового Града. О "количестве распределения" впервые узнаю от Вас.

Я допускаю некоторые первичные успехи другой стороны на юге и в других местах: преимущества вооружения и каких-то новых изобретений должны сказаться. Но человеческий материал там хуже, чем в прошлое лето, и настроение должно быть иное. Сюда начала приходить Weltwoche, дающая любопытный букет цитат из официозов. Это соответствует ожиданиям.

Неверно, что я будто бы не берегу своего здоровья. Напротив, я очень аккуратен и послушен, вплоть до иммобилизации на месте. Самочувствие — вполне удовлетворительное, и доктор констатирует сохранение "равновесия". Чего же лучше?

*Сол/омон/ Влад/имирович/ — Познер /см. 51 номер/.

Спасибо, что написали о Лиссабоне. Но сношения теперь так затруднены, что практических результатов едва ли можно ожидать.

С сердечным приветом от нас обоих Вам обоим.

Ваш П. Милюков

3 июня, 1942

Дорогой Яков Борисович,

Пестрота и широкий фронт "Нового Журнала" меня не удивляет: при нынешнем составе новоиспеченных "американцев". Это, очевидно, обуславливает самое существование журнала. Я рад только тому, что, несмотря на настояния, сам не попал на ответственное место редактора при этих условиях. Но что меня удивило — и огорчило — это новые сведения Е. Д. о статье самого редактора. Она пишет о том "весьма натянутом объяснении, почему именно теперь понадобилось Ст/алину/ ликвидировать своего "соперника"*, — которым кончается статья. А именно "для внутренних отношений эта персона была уже безопасна: опыт проделан, и влево страна не вернется. Напротив, послевоенный мир бросится в эту сторону. И эти движения возглавит Тр/оцкий/, а между тем должен возглавить грузин". Я очень рад тому, что Вы хотите прочесть мою седьмую главу: там Вы найдете объяснение, почему такое суждение я считаю продуктом глубокого непонимания того, что происходит в России. С одной стороны, тут продолжает игнорироваться роль ликвидированного лица в самой криминальной части конспирации, покаранной процессом 1938 года. В левом лагере продолжают считать "признания" вынужденными насильственно, тогда как тут была раскрыта руководящая роль Тр. именно во "внутренних отношениях". Во-вторых, во внешних отношениях предполагается соперничество в области возглавления того или другого вождя при торжестве коммунизма, т. е. приписывается Сталину агрессивная роль в войне и возвращение к

* Ст/алину/ "ликвидировать своего соперника" — т. е. Троцкого.

идее мировой революции. Вы прочтете мое мнение о том, как далек был этот вождь от того или другого. Тут поражает не только искусственность толкования, но ошибочность самой базы, на которой оно построено. Эта археология меньше всего идет к "новому" Журналу, и Вы правы, что название выбрано — неподходящее. Ваше толкование событий я вполне разделяю — с той только оговоркой, что технические преимущества противника продолжают давать ему временную выгоду и могут повести за летние месяцы к ликвидации русских "roche"*-ей и к некоторому продвижению неприятельского фронта. Но, во-первых, "весна" уже прошла, а ликвидирован пока только один, и поход на Кавказ таким образом задержан. Для других мест еще только собираются силы — а время идет, а, во-вторых, внутренние признаки ослабления сравнительно с прошлым годом множатся и усиливаются. Это уже повело к попыткам — ограничить первоначальные цели кампании и заговорить о "мирных" намерениях. В то же время силы союзников на стороне демократии быстро растут. Я тоже думаю, что равнодействующая всех этих процессов выяснится уже в предстоящие летние месяцы.

Третьего тома очерков, увы, у меня нет, и я тщетно добиваюсь выяснения, где находится склад очерков, оставленных в Париже И. Н. Коварским. 2-й том Коковцева я быстро получил от Сол. Вл. Но мне понадобился и первый, и с ним происходит какая-то задержка: каждый день жду его с нетерпением. Вы спрашиваете, зачем он мне понадобился. На досуге, открывшемся по окончании американской работы, я возвращаюсь к писанию своих воспоминаний, и Кок. — настоящий клад для фактического обоснования того центрального стержня событий, на который нанизывается эта часть моих воспоминаний. Я когда-то назвал эти, по видимости, очень умеренные и осторожные записи обиженного царедворца — настоящим "обвинительным актом" против старого режима. Своих статей из "П. Н." на эту тему я здесь не имею; приходится возвращаться к источнику.

* Roche — букв, карман /франц./, очаги сопротивления, оставшиеся в окружении.

Известие о кончине Розы Гавриловны* меня очень печалило. Это был хороший человек, принесший всю жизнь свою на служение мужу, — это было очень нелегко при темпераменте О. О. На ее руках осталась еще Нелли; что с ней теперь будет? Я как-то не верил, чтобы эта болезнь оказалась раковой; об этом мы переписывались еще с О. О., который, напротив, не верил в возможность выздоровления. И казалось, что Р. Г. как будто даже ожила после его смерти.

Я сам чувствую себя почти здоровым, хотя приходится избегать всяких физических усилий и вести сравнительно неподвижную жизнь. По счастью, голова совсем свежа.

Сердечный привет от нас Вам обоим.
П. М.

Комментарий Полонского:

*Это ответ на мое письмо от 1 июня, где я писал ему, что нас огорчили сведения в его письме от 19 мая о "Нов. Журнале" /о политич. статьях/, хотя и не явились неожиданностью: мы ведь еще не забыли "Новую Россию", но, что скверно, не забыли ее и нын. сотрудники. Я писал, что вспоминается мне, с одной стороны, покойный А. А. Яблонский**, кот. никак не мог простить русскому народу, что у него /Ябл./ в Революцию исчезли серебряные ложки, а с другой стороны, с изв. симплификации и позиции Бурцева***, кот. 20 лет тянет волюнку на тему: "Проклятье Вам, большевики!" Нужно признать, прилагаемое в названии журнала выбрано неудачно. Статья самого редактора — Алданова — об убийстве Троцкого: очень инт. то, что П. Н. отрицает за Сталиным возвращение к идее миров, революции: этим вот уже 2 года, а особенно с начала русско-германской войны, казен-*

* Роза Гавриловна — жена О. О. Грузенберга /см. выше/.

** Яблонский Александр Александрович /1870 - 1934/ — литератор.

*** Бурцев Владимир Львович /1862 - 1942/ — публицист, в прошлом народоволец, впоследствии эсер; один из организаторов /1921/ "Национального комитета" для борьбы с сов. режимом.

ная и реакционная печать пугает Европу. О войне — писано после Харьковской операции; "Мирные намерения" — намек на речь Геринга к рабочим.

5 июня, 1942

Дорогой Яков Борисович,

Прежде всего поблагодарите от моего имени Нину Яковлевну за подарок, который она хочет мне сделать. У меня сейчас в распоряжении находятся "Русские записки" за апрель—октябрь 1938 /не хватает ноября и декабря/ и за весь 1939 г./кончая авг. — сентябрем/. Но все это — н е м о е.

...А что хотят сделать с библиотекой О. О.? Пожертвовать к.-н. лицу или учреждению, подарить по частям, продать с аукциона? Есть ли какое-нибудь распоряжение в завещании? Вероятно, Сол. Вл. об этом осведомлен.

Кстати, я что-то не получаю 1-й части Коковцевских мемуаров, которые просил его дослать, и не получаю от него ответа на вопрос о цифре мандата, который должен послать ему за поддержание книг. Может быть, он уже уехал на вакационный отдых? Вторую часть мемуаров я получил быстро — из библи. "Унион", а в первой адски нуждаюсь.

Я уже ответил Вам насчет 7-й части моей американской книги: прочтите — и судите.

Преданный Вам П. М.

* Книга только что пришла, когда это письмо было уже написано.

25 июня, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Я, наконец, получил от Ек. Дм. книжку "Нового Журнала", но всего на 4—5 дней, после чего она будет отвезена,

как и привезена, с оказией. Не могу, таким образом, послать ее Вам, постараюсь только резюмировать содержание подробнее, чем до сих пор знали. В предисловии "от редакционной группы" заявляется, что подбор сотрудников должен осуществить "идею единения", и расхождения 1917 "можно и должно забыть"; границы фронта: наци и большевики. Группа извиняется, что в этом № "преобладают" люди левого лагеря, но "во 2-й книге будут и статьи и публикации иного направления".

Беллетристика содержит два рассказа Бунина, напечатанные без разрешения автора из рукописной книги "Темные аллеи". Вспоминаю, что в Швеции не хотели печатать рассказов чересчур клубничного содержания. Должно быть, эти сюда относятся. Затем — глава из романа А/лександры/ Л/ьвовны/ Толстой — из жизни русско-американской молодежи, прожигающей жизнь. А. Л. обамериканилась даже в языке. Ultima Thule Сирина — разговор с покойницей о Боге и загробной жизни — на неудобочитаемом языке с обычными гримасами автора. Живой рассказ Осоргина* о своем прошлом /продолжение следует/. Два "Политических рассказа" Алданова, с оговоркой, что "Автор не чувствовал себя способным писать теперь на темы, не имеющие отношения к происходящим в мире событиям". Германский "фельдмаршал" едет с фронта к Гитлеру доложить "свое мнение" о риске авантюры, подумывает о "заговоре" и т. д. Но из Берлина фюрер, не выслушав его, приказывает ему вернуться. Примечание автора: "Только будущее может, конечно, показать, угадано ли это настроение верно".

В отделе "Россия в войне" статьи Керенского "Передышка" /с сурдинкой, но ясно: будет "путь к спасению" только при условии — начать внутр. преобразовательную работу"/. Часть пожеланий не расходится с моими. Статья Арсентьева: "стоим за оборону, но" — с резкой и банальной критикой.

В отделе "Внешняя политика" хитроумная статья Николаевского /1-я/ о том, как большевики снюхались с Германией

* Осоргин /наст. фамилия Ильин/ Михаил Андреевич /1878 — 1943/, писатель.

— на базисе "борьбы с капиталистами". Осведомлен хорошо, но уже ясна заковка, которую я называл ему "троцкистской". Статья Долина "Коминтерн в войне" утрирует роль Коминтерна в обличительном духе, но... признает, что в последние года "режиссера убрали за кулисы". Конечно, де, это — военная хитрость. Статья Вишняка*: "Россия, Европа и мир после войны" трактует вопросы будущего мира, отдельные элементы утопизма от возможных реальных задач /но тоже с утопистской прослойкой/. Эта статья вызвала интерес у Прокоповичей, и она действительно интересна по материалу.

Следуют "Вопросы дня". Федотов раскланивается с Поляковым. Но Федотовская конструкция витает над миром, унося в надмирное пространство руководящую мысль, что фашизм "прав в основном ощущении порочности и безвыходности современной культуры". Бедные евреи! Куда им прийтись, когда будет "построен новый мир" и "та среда, в которой жило в сравнительном благополучии еврейство, погибла /погибнет/ навсегда". "Капитализма" нет, "ассимиляция" осуждена, остается — приход к Иошуа-Иисусу. Это — в самом конце, завернуто в риторические бумажки: "Сейчас не время поднимать этот спор!" А Литовцев, после должных реверансов, решительно заявляет: ничего нам от вас не нужно: отмените только исключительные законы и оставьте нас в покое! Не нужно нам "ни чудес, ни мистической благодати". Совсем "не тревожит" нас ваша эсхатология... Ну, конечно, все это в изысканно-вежливой форме.

Дальше тихо грустит Ст. Иванов о "Кризисе социалистического сознания". "Все побежали, — и мы, социалисты, тоже побежали". "Ужасающий удар по революционному престижу социализма"! "Поддержка Гитлера народами бездействия"! Обнаружился скандинавский социализм, обанкротился английский — как раз те, которые хотели быть прак-

* Вишняк Марк Вениаминович, общественный деятель, бывший в 1917 году секретарем Учредительного Собрания, журналист, автор замечательной книги "Современные Записки. Воспоминания редактора". Indiana— University. 1957.

тичными. А большевизм разрушил все "иллюзии" социализма: веру в пролетарские массы, в коллективное хозяйство. "Упала пролетарская самоуверенность социализма". "Коммунизм убил нашу веру". "Научный социализм разрушен. Остается... вернуться к тому, с чего социализм начал" — т. е. к "утопическому" социализму, к "расплывчатому идеализму, который мы с научным высокомерием отвергли". Окончательная схема:

"худший" режим — социализм без свободы
 плохой — капитализм без свободы
 сносный — капитализм в свободе
 хороший — социализм в свободе
 Идеальный — ?"

"Не спится" бедному Ст. Ивановичу.

Очень интересна статья Соловейчика о новейшем фазисе в ориентации наших сепаратистов. Он тоже ставит крест над могилой "национальных" иллюзий. А наши теперешние союзники возобновляют тезисы Вильсона.

О статье М. А. об "убийстве Троцкого" я, кажется, уже писал Вам. Теперь прочел — и согласен с впечатлением Эк. Дм. Гадания конца статьи о том, почему Сталин именно в 1940 г. решил ликвидировать Троцкого, очень искусственны и неубедительны. Основная причина ошибки — та же, какая просвечивает и в ряде других статей — Керенского, Арсентьева, Николаевского и т. д. Это — психологическая невозможность исправить представление о московских процессах и об истреблении "пятой колонны". Ларчик открывается просто, но предвзятое мнение мешает отыскать к нему ключ.

Все статьи книги так или иначе связаны с войной. Исключение составляют статья Цетлина о Балакиреве и Зензинова о Трифоно-Неченской обители. Есть "памяти ушедших" /главным образом, сотрудников "П. Н"/ и маленькая библиография. Эта часть, очевидно, разовьется.

Никаких американских влияний пока не видно, — за исключением Толстой, старой жительницы.

Общее впечатление: мы отнеслись к этому изданию слишком сурово. Конечно, это Ноев ковчег, но, при сложившихся

там условиях с этим надо примириться. Это, конечно, наши парижские перепевы: но подождем более оригинальных откликов на совершающееся. И сейчас, однако, есть немало интересного. Можно пожелать, чтобы штемпель Copyright by M. Zetlin продолжал появляться и дальше. Продажа 500 экземпляров раскупленного 1-го тома, конечно, расходов по изданию окупить не может.

С сердечным приветом
Вам обоим
Ваш П. М.

26 июля, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Положение наше очень серьезно. Инициатива принадлежит не нам; задачи ставит противник, и в нужных ему местах это дает ему возможность сосредотачивать преобладание живой силы и технических средств. Помощь союзников запоздала и едва ли вероятно по существу в сколько-нибудь заметных размерах. С другой стороны, самое это накопление сил у противника показывает желание поскорее покончить с этой частью войны; отвлечение его в нашу сторону, видимо, сознано, как ошибка. Выход двойной: или, собрав все силы, покончить решительным ударом; но удар — в смысле занятия территории — есть удар по воздуху, ничего не решающий. Отсюда — учащающиеся заявления о пределах, достигнув которых, противник признает себя удовлетворенным и цель — достигнутой. Но без согласия с нашей стороны остановиться на избранном не нами пределе — такая остановка невозможна. Отсюда — все усиливающиеся толки о перемирии или даже о мире. Ввиду сокращений нашей территории и уменьшения восстановительных средств, передышка нам выгодна, если, конечно, получены будут этой ценой достаточно выгодные условия. Выход из войны возможен в виду отсутствия помощи от союзников. Продолжение наступления может иметь

целью только ухудшить для нас условия. Но надо признать, что настоящий момент для нас слишком невыгоден, и серьезные предложения мира покажут лишь, что противник очень ослаблен. Во всяком случае, то или другое решение должно быть принято в ближайшее время. Наш выход из войны, конечно, означал бы ее большую продолжительность для других партнеров, с перспективой постепенного ослабления нашего противника. Т. е. для него невыгодно и продолжение, и остановка. В этом — наш шанс. А их шанс — открытый путь до Баку. Вот и угадайте, какой выход будет найден из этого сложного положения.

Д-ра Цитрона поблагодарите от нашего имени за доброе пожелание. Но произведения огорода, овощи и фрукты здесь имеются в достаточном количестве и посылать их не стоит. Осорг. посылал нам продукты куроводчества, но для них теперь, кажется, не сезон.

Сердечный привет от нас всей Вашей семье
Ваш П. Милюков

28 июля P.S. Пока я собирался послать это письмо, пришла посылка Цитрона: яйца, сыр, жиры: никаких овощей /о чем предупредил его Мих. Андр. Ос./ Я уже отправил ему благодарственное письмо по адресу: Marc Citron, Route de Chezelles, Villedieu s 'Indre /Indre/

27 августа, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

На днях Вы получите 1-й № "Нового Журнала". По распоряжению Ек. Д. я посылаю его Мих. Андр.*, а по возвращении его мне получил разрешение от Ек. Дм. переслать его Даманской и Вам. Даманскую я просил переслать журнал прямо Вам. Так как, очевидно, теперь спешности в использовании его не будет, то Вы можете послать его для прочтения

* Мих/аил/ Андр/еевич/ — Осоргин.

Познеру и Лурье, а последнего попросите вернуть его мне.

Московское свидание заставило союзников встрепенуться. Помимо Дьеппа* , видимо, готовится в Ираке и Иране армия для южного Кавказа, и хотя Москва приняла это предложение "без энтузиазма" /очевидно, памятуя прошлую войну/, но отказаться не могла, — и это обстоятельство продляет сотрудничество. Ваш "Воронеж", Вы видите, не помогает, но сильное сопротивление на Кавказе и у Сталинграда оттягивает развязку. Вместе со всем этим слабеет возможность и того исхода, который Вас психологически оттолкнул в моих прогнозах. Но "стена" на Волге или на зимних позициях его не заменяет. Новый зимний поход продолжает мне казаться маловероятным. В общем, положение стало более неопределенным, — и в этом — его возрастающая трагичность. Но в этом и какие-то вновь открывающиеся просветы. Это похоже на изречение дельфийского оракула; но я не хочу делать прогнозов: решение висит в воздухе.

С Познером я переписываюсь по поводу условий жизни в Вансе** . Меня начинает тянуть туда перебраться.

Есть ли новые сведения от испанца? Доехал ли он и Поляков благополучно?

То, что Вас угнетает в Париже, дошло и досюда*** .

Привет от нас Вам обоим

Ваш П. Милюков

От Ек. Дм. и от Мих. Андр. имею сведения о его тяжелой болезни. И он сам, и его жена считают положение безнадежным. Надеюсь, что тут есть элемент мнительности.

* Помимо Дьеппа... и т. д. — речь идет о готовившихся высадках союзных войск для открытия второго фронта.

** Ванс — Vence — городок в Провансе, в Кантоне Морских Альп, 22 км от Ниццы.

*** То, что Вас угнетает в Париже... — в июле-августе оккупационный режим ужесточился; так, в июле в "Паризер Цайтунг" было опубликовано распоряжение немецких властей, запрещающее евреям посещать рестораны, кафе, рынки, библиотеки, музеи, парки, а так же ходить по Елисейским Полям и бульварам.

5 сентября, 1942

Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Спасибо Вам за Ваше чрезвычайно содержательное и интересное письмо. Что касается "советов", Ваши советы всегда желательны, а в данном случае совет оказался и весьма приемлемым. Мы только что вчера беседовали с жительницей Ванса, Ниной Ал. Ривлиной о преимуществах Ванса. Я склонялся, а Ниночка всячески отбивалась и была чрезвычайно рада совпадению Ваших сообщений с ее утверждениями. Таким образом, мой карточный домик благодаря Вам разрушен до основания, с прибавкой и Ниццы, где мои климатические соображения совпали с Вашими политическими /чего я даже не ожидал в т а к о й степени/. Ниночка шлет Вам за это особую благодарность, и я к ней присоединяюсь.

Ваше сообщение о моих "пожизненных" правах на библиотеку О. О. меня очень удивило и смутило. Мои соображения по этому поводу я изложил на прилагаемом листочке, который прошу Вас показать С. В. Познеру и передать мне Ваши мнения. "Официально" я не уведомлен, и для окончательного решения есть время. Если найдете нужным, передайте мои соображения и г. Зараковичу.

Строки Марка А/лданова/ о "Посл. Нов." я читал в № 1 "Нов. Ж." с благодарностью, а о похвалах в № 2 мне сообщала Ек. Дм. Я жду от нее этого № с оказией; но, если она не состоится, буду просить посылки от Вас. О получении № 1 от беззалаберной дамы сообщите, как и о его дальнейшем направлении. Ек. Дм. сообщает, что Ал. Фед. /Керенский/ из журнала выдворен, а на Федотове журнал едва не распался. Это облегчает мое вступление в сотрудники, но о сентябрьском № я, признаться, не думал, да и темы подходящей у меня нет. Не начинать же с полемики! Пусть Ал. Ф. "болеет душой" у себя дома. Да при теперешних сношениях с Америкой вообще на "месяцы" рассчитывать не приходится.

За поучительные цитаты из "Парижского Вестника" благодарю и жду номеров газеты. Неужели и это не образумит

этих господ — да и Ваших около церкви? Что там говорят об этом? А цитата из берлинской газеты просто великолепа* — и вполне подтверждает наши с Вами взгляды и ожидания. Именно поэтому мои "обзоры" и стали утешительнее. Именно поэтому окончательная развязка ускользает, каковы бы ни были успехи сегодняшнего дня, — и вместе с тем портится настроение у победителей. Именно поэтому я не верю в возможность повторения зимы и допускаю всякие иные комбинации для ее устранения. В этой части света темпы сокращаются поневоле. Цитата так соблазнительна, что надо будет ее размножить. Со времени Дария персидского "нормальных" условий для войны с Россией, — какие укажет противник — не бывает.

Об Осоргине Агафонов мне пишет в письме от 31 августа, что он "выскочил" и "болезнь притаилась". Перед тем я писал Мих. Андр. в ответ на его прощальное письмо, что он должен немедленно выехать в другое место, где есть хорошие доктора по серьезным болезням и хорошие аптеки, а после Агафоновского письма настаивал на Ницце и Вансе. Ответа пока не получил, но согласен с Агафоновым, что из его "дыры" его надо вытащить.

С нетерпением буду ждать сведений о прибытии парохода с Поляковыми с моим "грузом".

А о библиотеке О. О. хотел бы получить предварительные сведения. Стоят ли книги на полках в прежнем помещении или же оно уже оставлено и книги запакованы в ящики? Склонен ли Захарович затратить на описание библиотеки? Если она обозрима в данный момент, нельзя ли угрузить Вас просьбой заглянуть туда и высмотреть на глаз, что, по Вашему, может там найтись подходящего для моих теперешних работ — для постоянного пользования. О посылке мне сюда библиотеки, конечно, не может быть и речи. Помимо соображений, которые Вы прочтете, мне просто некуда девать

* ... Цитата из берлинской газеты... Я. Полонский послал Милюкову выписку из газеты "Новое Слово", которое в номере от 19 июня 1942 перепечатало статью из гитлеровской Das Schwarze Korps.

ее; квартира парижская недоступна, а заводить здесь квартиру — не по карману.

Ниночка и я шлем Вам обоим самый дружеский привет.

Ваш П. Милюков

17 сентября, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Безгранично Вам благодарен за характеристику "библиотеки" и за маленький каталог по моей части. Очевидно, через Вас мне какая-то бабушка ворожит...

...Получено известие, что умер Бурцев, так же одиноко, как жил. Тяжело больной, он был перевезен в госпиталь, где пролежал две недели. Наши узнали о его смерти только после похорон, 8/IX. Кобецкий и Осоргин уцелели после опаснейшего сердечного кризиса. Ванс нами окончательно похоронен, но странным образом возобновляется мой интерес к Монако, где, по одним сведениям, зимой топят, а по сведению Кобецкого, который туда возвращается, там сухо. Насчет питания — не знаю, насчет очередей — тоже.

В "Полит. энциклоп.", кроме "Грузенберга", есть интересные статьи?

После падения Сталинграда наступает решительный момент. Из трех возможностей выбора какая осуществится? Дальнейшее преследование, зимние квартиры, — то, что Вас отталкивает**? Для победителя все — трудны, — и в этом наш шанс. Или четвертая возможность — *deus ex machina*?

Увидим.

Сердечный привет от нас Вам обоим.
Ваш П. Милюков

6 октября, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

Ваше молчание меня беспокоит. Здоровы ли Вы? Все ли у Вас в порядке? Черкните хоть несколько слов в ответ.

Второй том "Н. Ж." я получил и прочел. Он гораздо лучше первого. Много интересных статей на текущие темы. Между ними статьи Тимашева* и Вишняка настолько меня раззадорили, что я взялся за перо и пишу статью для "Н. Ж.". Вишняк ведет арриергардный бой, прикрывающий отступление Ал. Фед. Позиция — невыгодная, и статья — удручающе фальшивая и извилистая. Этот тыл я хочу отрезать. К удивлению — статья Тимашева — толковая и спокойная — ближе мне, хотя он политический противник, чем эта статья политического недавнего союзника. Не знаю только, когда и как статья дойдет по назначению и понравится ли она редакции.

От Долгополова только что получено письмо, что из Америки в ответ на его запросы получены телеграммы, что там получены только 4 главы. О том же извещает в письме ко мне от середины августа Хаскель. Но телеграммы-то, очевидно, от последних дней, и, значит, до начала октября там три последние главы не получены — или не выручены из цензуры. У Вас о приезде Поляковых, очевидно, тоже нет еще никаких сведений. Получили ли Вы "Пар/ижский/ Вестник", высланный мною заказной бандеролью? Очень ли сердитесь на меня, что я запоздал отсылкой? Цитаты Ваши использую против Вишняка. Вестей от Вас жду с каждой почтой — и беспокойство растет. Откликнитесь!

Ваш П. Милюков

* Тимашев Николай Сергеевич /1886 — 1970/, профессор, — экономист и социолог, в эмиграции с 1921 года /Берлин, Прага, Париж/; создал новую науку — "социология права".

14 октября, 1942
Aix-les-Bains

Дорогой Яков Борисович,

... Пока не пишу Вам подробного разбора 2-й книги "Нов. Журн.". Скажу только, что он гораздо лучше 1-го. В статьях много интересного, а две из них меня раззадорили: Тимашев и особенно Вишняк, который, по-моему, прикрывает отступление Ал. Фед. Я написал по этому поводу статью для "Нов. Журн.", но не знаю, пригодится ли она, так как статья полемика и довольно острая. Я ей приписываю значение для установки позиции: она здесь та же, что и в книге для Карнеги. Я Вам посылаю черновик, очень исчерченный, так как, переписывая ее, я, как всегда, внес очень много изменений. Прочтя, верните. Здесь есть okazия для пересылки в "Журн.", но, если она не состоится, попрошу Вас поискать другой случай. Очень хотелось бы, чтобы она появилась.

...Вы спрашиваете о Бенуа*. Я его знаю мало, несмотря на встречи в редакции и у него. Человек — болезненно самолюбивый, высокого мнения о себе, со мной застегивался на все пуговицы: очевидно, считал меня чужим для себя — и не напрасно. Я не удивляюсь его позиции, — как и Лифаря**: это эстеты, служители своего искусства и люди, чуждые обществу: Бенуа только умнее Лифаря и блюдет интеллигентскую традицию. Но оба — космополитической складки: Бенуа еще больше Лифаря, — как признанный мировой авторитет в своей области, к "процессу разложения эмиграции" он отношения не имеет: всего довлеет себе, всегда тот же, а окружающие, кроме узкого круга, для него безразличны.

На Ваш вопрос: "Что ждет эмиграцию", увы, могу только ответить: за немногими исключениями, — вымирание. Очень мы и они непохожи друг на друга. Может быть, кто

* Бенуа Александр Николаевич /1870 — 1960/, русский художник и искусствовед, один из основоположников "Мира Искусства".

** Лифарь Сергей Михайлович /1905/, крупный балетмейстер, соратник и последователь Дягилева.

помоложе, пригодятся. Филиация поколений и прежде была — с перерывами.

Насчет параллели с "Верденом" я теперь окончательно убедился. Истощение и перелом — ясны... Вообще мой барометр, в связи с выяснением положения, быстро поднимается.

Сердечный привет Вам и Любви Александровне от нас обоих.

Ваш П. Милюков

ДАВИД ДАР

"ИСПОВЕДЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ"

О бесплодности старости, о борьбе идей, о похоти, о победителях, о божественном одиночестве, о литературных оценках.

Цена при покупке в издательстве: в Израиле — 70 лир, за рубежом — 3 доллара, включая пересылку морем. Пересылка авиапочтой: в Европу — 2 доллара, в Америку и Австралию — 2,50 доллара.

ЗАКАЗЫ И ЧЕКИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
"TARBUT", P. O. B. 27166, JERUSALEM, ISRAEL

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 год издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"NOVOYE RUSSKOYE SLOVO"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

ЧЕЛОВЕК-МАСКА НА МАКСИМИЛИАНШТРАССЕ

В 1924 году Томас Манн в своей корреспонденции в американский журнал "Шкала" назвал Мюнхен городом высокой художественной культуры, торжества изобразительного и прикладного искусства. Кажется, с тех пор ничего не изменилось, и в столице Баварии, городе достаточно провинциальном, где в двадцатом веке не было создано ничего значительного в области пластических искусств, экспонируется первоклассное, ставшее сегодня музейной классикой, современное искусство.

В городе пять музеев современного искусства и около 120 галерей, где в течение одного последнего месяца проходят вернисажи выставок таких прославленных художников нашего времени, как Пауль Клей, Оскар Кокошка, Макс Либерман и Джозеф Бойс.

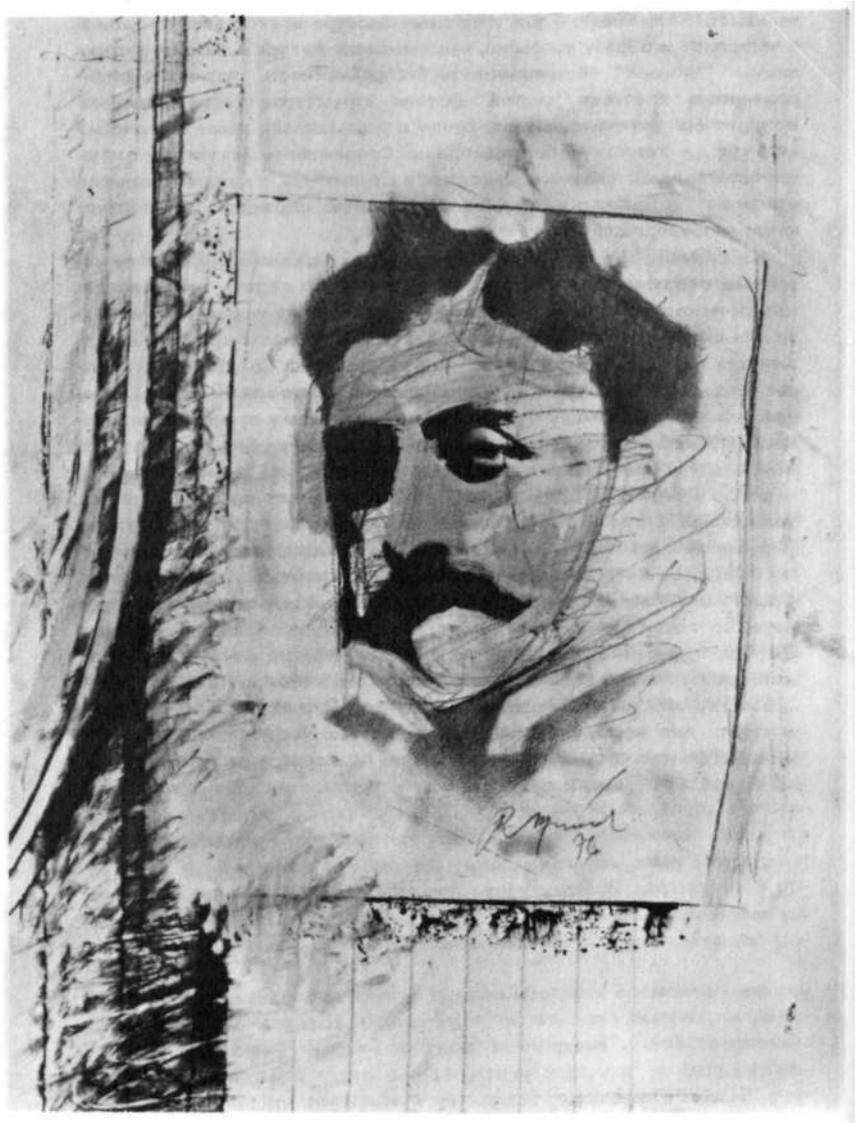
Максимилианштрассе — улица галерей, на которой выставляются в основном всемирно известные художники и скульпторы, где можно увидеть музейные выставки ныне официально признанного авангарда шестидесятых — семидесятых годов. Это в большинстве своем солидные, в некотором смысле бюргерские галереи, располагающиеся в старых зданиях добропорядочной эклектической архитектуры, которые тянутся по обе стороны этой роскошной улицы, выстроенной когда-то по заказу короля Максимилиана II для королевских прогулок.

"Королевский" стиль улицы галерей Мюнхена в каком-то смысле сохранился и по сей день, несмотря на то, что здесь экспонируется искусство, еще совсем недавно слышшее "авангардом". На Максимилианштрассе, оставшейся где-то верной жанру портрета, самому распространённому жанру придворной живописи, процветает "новый" реализм. На Максимилианштрассе в новой перспективе предстают модернизм и модернистские художники, которые представлены здесь исключительно фигуративными работами.

Раушенберг, Риверс, Уорхолл, Сегал, Гамильтон, Хокни, Китай, Розенквист, Вессельман — все именитые мастера авангарда обращались в живописи к образу человека, человеческой фигуре и человеческому лицу. "Чистый" абстракционизм, беспредметность, неперсонифицированность, пластика "чистой" формы, структуры, цвета, лишенная конкретных узнаваемых черт, связи с реальностью, несет временный характер, — это искусство преходящее. Современное искусство, включая авангардные течения в живописи и скульптуре, в каком-то смысле отвергает метафизику "чистых" форм, вновь обращаясь к человеку как к непреходящей теме.

Изображение человека в современном фигуративном искусстве коренным образом отлично от его традиционного образа, созданного в классическом искусстве эпохи гуманизма. Прежде человек в живописи или скульптуре представлялся идеалом физической красоты, совершенства форм, одухотворенности и благородства. Современный портрет — гримаса, искаженное, обезображенное лицо-маска, принадлежащее человекообразному чудовищу, кафкианскому существу, претерпевшему метаморфозу из человека в гадкое насекомое. Прежде мужчина виделся как Давид, а женщина как Джиоконда, ныне художнику видится в мужчине дегенеративное существо, кретин из анатомического атласа, а в женщине безликая, наряженная кукла со штампованных наклеек коммерческих реклам. Так, Дюбюффе создает свой архетип игрушенного человека, персонажа комических детских рисунков, Ко Вестерик рисует своих карликов с кукольными лицами, Хорст Антес воплощает на бумаге, холсте, в скульптуре образ человека-маски. Арнульф Райнер, самый отчаянный авангардист, рисуя гуашью по фотографии, пишет свой модернистский автопортрет, повествующий о мерзостях собственного растерзанного тела. Это видение человека характерно для всего современного искусства, чье мироощущение наполнено фантазмагорическими образами Аушвица, термоядерной войны миров, ГУЛага и Хиросимы.

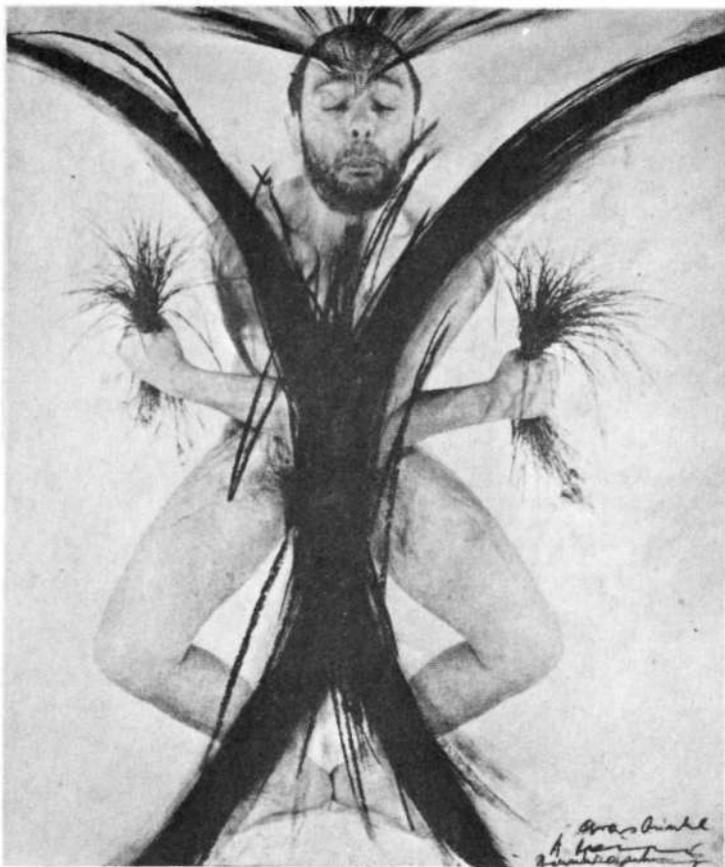
Наталья ГРОСС



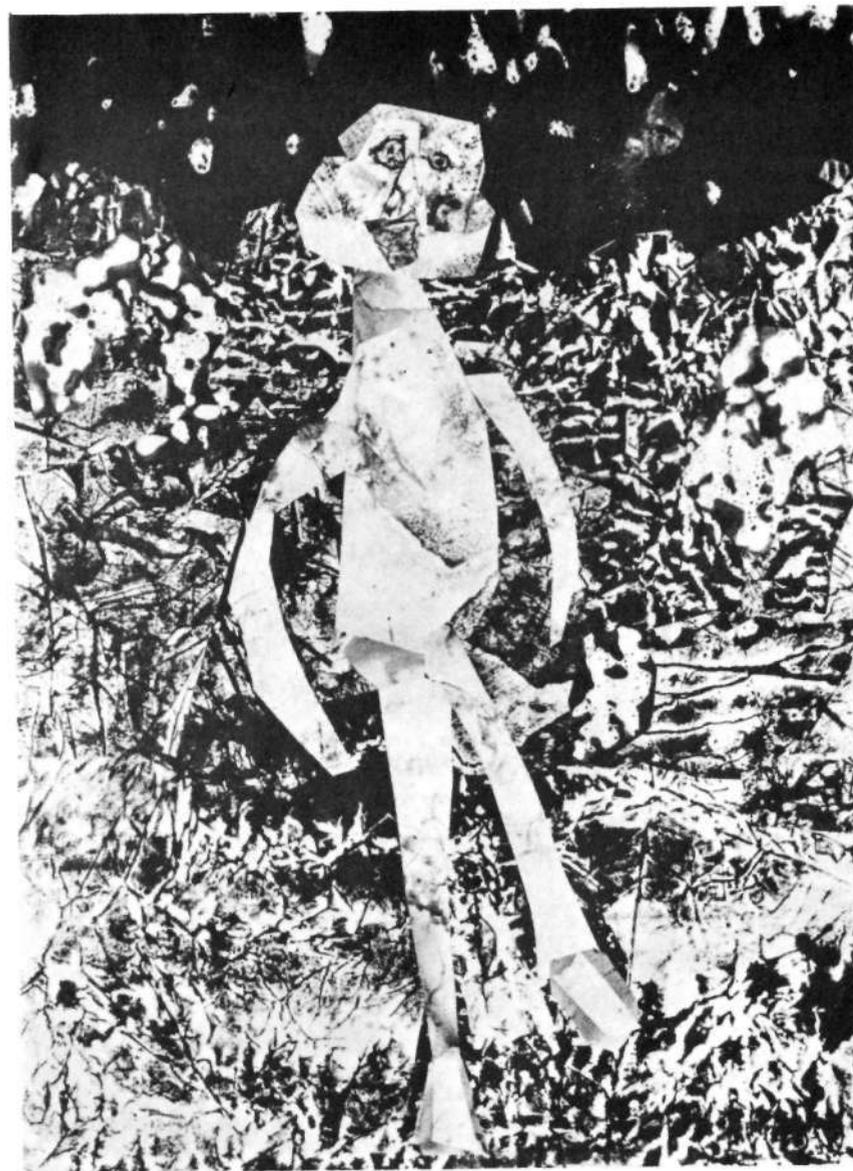
Роше Фунд. Пруст. Из цикла "Иллюстрации к книге М. Пруста "В поисках утраченного времени".



Хорст Антес. Голова. Хромированная сталь и никель.



Арнульф Райнер. Пучки травы. 1975. Рисунок по фотографии.



Жан Дюбюффа. Благородная травяная империя. Коллаж.

Ко Вестерик. Человек в утреннем пейзаже.



Масло и темпера на дереве и бумаге.



Ко Вестрик. Спор женщины и мужчины.

Масло и темпера на дереве.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Владимир РЫБАКОВ. Родился во Франции в 1947 году. В 1957 году вместе с семьей переехал в СССР. (Родители были коммунисты). Там получил незаконченное высшее образование. Три с половиной года служил в армии на Дальнем Востоке (позже об этом была им написана книга "Тяжесть"). В 1972 году выехал во Францию. В настоящее время живет в Париже и работает в газете "Русская Мысль". В журнале "Время и мы" опубликовал повести "Александрийский мост" и "Враг".

Лев НАВРОЗОВ. Как и многие другие в современной России, Лев Наврозов жил подпольно примерно с 14 лет, то есть с 1942 года. Он был подпольным писателем.

Для того, чтобы существовать и не быть сосланным в качестве ту-неядца, он "внештатно переводил" на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Фазилы Искандера, Андрея Битова. После первой и последней попытки напечатать свою книгу "Стаканчики граненые" в московском издательстве в короткий просвет "Пражской весны" 1968 года Наврозов стал писать по-английски, и, приехав в Соединенные Штаты в 1972 году, он издал свою первую из семи книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией".

Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Лев Наврозов является постоянным автором журнала "Комментарии". Начиная с 47 номера, Лев Наврозов — член редколлегии журнала "Время и мы".

Семен ЛИПКИН. См. журнал №50.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. См. журнал № 49.

А. МОРЕВ. См. вступление к подборке стихов А. Морева.

Н. ПРАТ. См. журнал № 50.

Мира БЛИНКОВА См. журнал № 48.

Дора ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованием ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском Университете. В Израиле — с начала 1977 года.

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 50.

Павел МИЛЮКОВ. См. журнал № 50.

ЭХО

Вышел и рассылается подписчикам №4, 1979, завершающий второй год издания журнала

Читайте повесть Андрея Платонова "Ювенильное море" с послесловием проф. Михаила Геллера "Соблазн утопии".

Вслед за "Котлованом" и "Чевенгуром" наконец увидела свет последняя из неопубликованных повестей Платонова. /Самиздат/.

Кроме того, в номере:

ПРОЗА

Борис Вахтин. Летчик Тютчев, испытатель. Повесть /Самиздат/. Вадим Делоне. Портреты в колючей раме.

Рассказы Надежды Сдельниковой, Юрия Милославского и Константина Скоблинского.

СТИХИ

Анри Волохонский, Алексей Хвостенко. Собрание песен /Послесловие Л. Ентина/.

Алексей Люсев. Памяти водки /Послесловие И. Бродского/

Андрей Монастырский. Из двух книг /Послесловие В. Тупицына/.

Сергей Петрунис. Иероглифы.

Владислав Лен. Прогулки. /Самиздат. Автор — издатель нового самиздатского альманаха "Бронзовый век", 1-й номер которого только что перепечатан в Австрии/.

Перепечатка раздела "Золотое детство" из самиздатского журнала "Женщина и Россия", с заявлением редактора Т. Мамоновой. Дело Михайлова. /Ленинград/.

Наше интервью с Владимиром Максимовым.

ВНИМАНИЮ БИБЛИОТЕК И УНИВЕРСИТЕТОВ!

С этого номера и постоянно — библиографические материалы /забытые русские писатели, библиография переводов, редкие публикации/. В этом номере: начало библиографического указателя "Андрей Платонович Платонов /1899 — 1951"/. Составитель В. Марамзин.

ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции — 85 фр. франков в год /4 номера в год, с доставкой/.

Для университетов и с целью поддержки — 110 фр. франков. Цена номера в отдельной продаже — 35 франков.

Адрес редакции:

"ЭХО" с/о V. Maramzine, 302 rue des Pyrenees 75020 Paris

Представитель "Эхо" в Израиле — Ирина Гробман

Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a

Jerusalem, Israel

СВОБОДНЫЙ РУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,

*проводивший первый летний курс /1979 г./ в Аххерге,
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ЛЕТНИЙ КУРС 1980 ГОДА.*

Заезд слушателей — 27 июля 1980 года.
Начало занятий — 28 июля 1980 года.
Конец занятий — 16 августа 1980 года.

Курс имеет целью дать слушателям по возможности полное и объемное представление о сегодняшней России, о ее истории, литературе, искусстве, науке; о современном положении в различных областях знаний; об организации советского государственного аппарата; о структуре управления промышленностью, сельским хозяйством, культурой и о многом другом.

Кроме того, со слушателями будут проводиться регулярные занятия русским языком и разговорная практика, что даст возможность студентам-славистам, преподавателям русского языка, переводчикам усовершенствовать свои знания.

Занятия, лекции, вечера, семинары будут проводиться высококвалифицированными преподавателями и профессорами, а также специалистами в различных областях знаний, писателями, журналистами, историками, искусствоведами.

Университет будет проводить свою работу в ААХЕНЕ, живописном городе на стыке границ трех стран — Германии, Бельгии и Голландии.

Количество мест ограничено.

Слушатели обеспечиваются одно- или двухместными комнатами гостиничного типа и трехразовым питанием.

Стоимость обучения и пребывания в течение трех недель:
в одноместной комнате — 925 нем. марок
в двухместной комнате — 820 нем. марок

В течение двух недель:
в одноместной комнате — 725 нем. марок
в двухместной комнате — 650 нем. марок

/Количество двухместных комнат ограничена/

ЗАПИСЬ НА КУРС - ДО 1 мая 1980 года.

По всем вопросам обращаться по адресу:
ARTHUR A. WERNER, Postfach 50 1968, D-5000 KOELN 50

Григорий Свирский НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(ЛИТЕРАТУРА ПРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 1946-1976 гг.)

Эта книга, с исключительно яркой, полемически острой манерой письма, есть в первую очередь исследование послевоенной литературы. Причем, несомненно, исследование событийного значения. Г. Свирский вдумчиво, проникновенно «читает» официально изданные произведения В. Некрасова, В. Пановой, Д. Гранина, В. Гроссмана, В. Дудинцева, В. Тендрякова и др. ...И оказывается, что каждый из них открыл какую-нибудь из проблем эпохи, показал ту или иную сторону советского действительного бытия. Попутно автор снимает с пласта настоящей литературы шелуху обвинений в постоянных уступках и компромиссах с властями, в иллюстративности партийно-правительственных решений.

Захватывающе интересны страницы, посвященные творчеству и личностям Ахматовой, Паустовского, Эренбурга, Солженицына, авторам самиздата, бардам «магнитофонной революции», историческому значению журнала Твардовского «Новый мир».

«На лобном месте» — одновременной мемуарные записки современника. Обладая незаурядными памятью и талантом, Г. Свирский воспроизводит атмосферу литературной жизни России сталинского, хрущевского и брежневского периодов. «Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, — пишет в предисловии к книге проф. Е. Эткинд, — а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи». Отмечая далее, что в истории литературы часто пропадают атмосферные явления, окружающие писателей и их книги, проф. Эткинд заключает: «Благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенке, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия».

С познавательной точки зрения, книга представляет несомненный интерес как для массового читателя, так и для славистов, изучающих современную русскую литературу.

Англия 1979. 620 стр. Мягк. пер. ДМ 40. — Тв. пер. ДМ 48. —

Пересылка за счет заказчика

Требуйте бесплатно наш большой каталог 1979/80



A. Neimanis · Buchvertrieb
8 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

Тел. 37-05-34

ВРЕМЯ И МЫ-1980год

Ко всем подписчикам и читателям журнала

Начиная с января 1980 года журнал "Время и мы" начинает издаваться как международный журнал литературы и общественных проблем с тремя центрами; в Тель-Авиве, Нью-Йорке и Париже. В связи с этим, естественно, расширится тематический круг журнала так же, как круг его авторов. На страницах журнала в 1980 году мы планируем публикацию лучших прозаических произведений самиздата. Предполагаются выступления Белля, Гольдштюккера, Виктора Некрасова, публикация писем Леонида Андреева, материалов процесса Кравченко (автора книги "Я выбрал свободу"). Мы предполагаем напечатать цикл эссе Льва Наврозова, рассказы и повести Александра Тучкова, американские рассказы Аркадия Львова, статьи и эссе Ефима Эткинда, Льва Копелева, Доры Штурман. Таким образом, журнал и дальше будет продолжать свою линию независимого гуманистического издания широкого профиля, на страницах которого найдут выражение любые взгляды и точки зрения, независимо от национальной, политической или религиозной принадлежности автора.

В связи с тем, что журнал "Время и мы" является беспартийным, независимым и никем не субсидируемым изданием, мы надеемся на более эффективную экономическую поддержку наших читателей. Поэтому наряду с обычными условиями подписки для тех, кто хочет помочь журналу и располагает соответствующими возможностями, предлагают несколько более высокие подписные цены.

Установлены следующие подписные цены на 1980 год:

В ИЗРАИЛЕ: на год — 1800 лир, на шесть месяцев — 1050 лир, с целью экономической поддержки журнала — 1900 лир и 1150 лир. (Оплатить подписку можно в три чека, первый — на день подписки, третий не позднее апреля 1980 года)

В США и КАНАДЕ: на год — 48\$, на шесть месяцев — 24\$. С целью экономической поддержки журнала — 60 и 30 (авиапочта — 96).

Во ФРАНЦИИ: на год — 220F.FR. на шесть месяцев — 110 F.FR. С целью экономической поддержки журнала 270 и 130 (авиапочта—370)

В ГЕРМАНИИ: на год — 92 DM, на шесть месяцев — 46 DM. С целью экономической поддержки журнала — 115 и 56 (авиапочта — 185).

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1980 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1980 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев
Журнал высылать с номера

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" можно по русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1980 ГОД

Авиапочтой сроком на 6 месяцев
Обыкновенной почтой на 12 месяцев
Журнал высылать с номера

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel



Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция
в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", ул. Шенкин, 26, Гиватаим.

Тал. (03)31-58-40.

2B Shenkin St., Givataim.

Письма и корреспонденцию направлять по адресу: П.Я. 24123,
Тель-Авив.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

Художник Лев Ларский

Корректор и литературный редактор Эвелина Браверман

Технический редактор И. Левин

OCR и вычитка - Давид Титиевский, июль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На первой странице обложки : Ко Вестерник "Школьный наставник
и ученик". Масло и темпера на холсте.

На четвертой странице обложки: Хорст Антес "Голова с белой мас-
кой". Темпера и гуашь на бумаге.

